

Стрелец

1

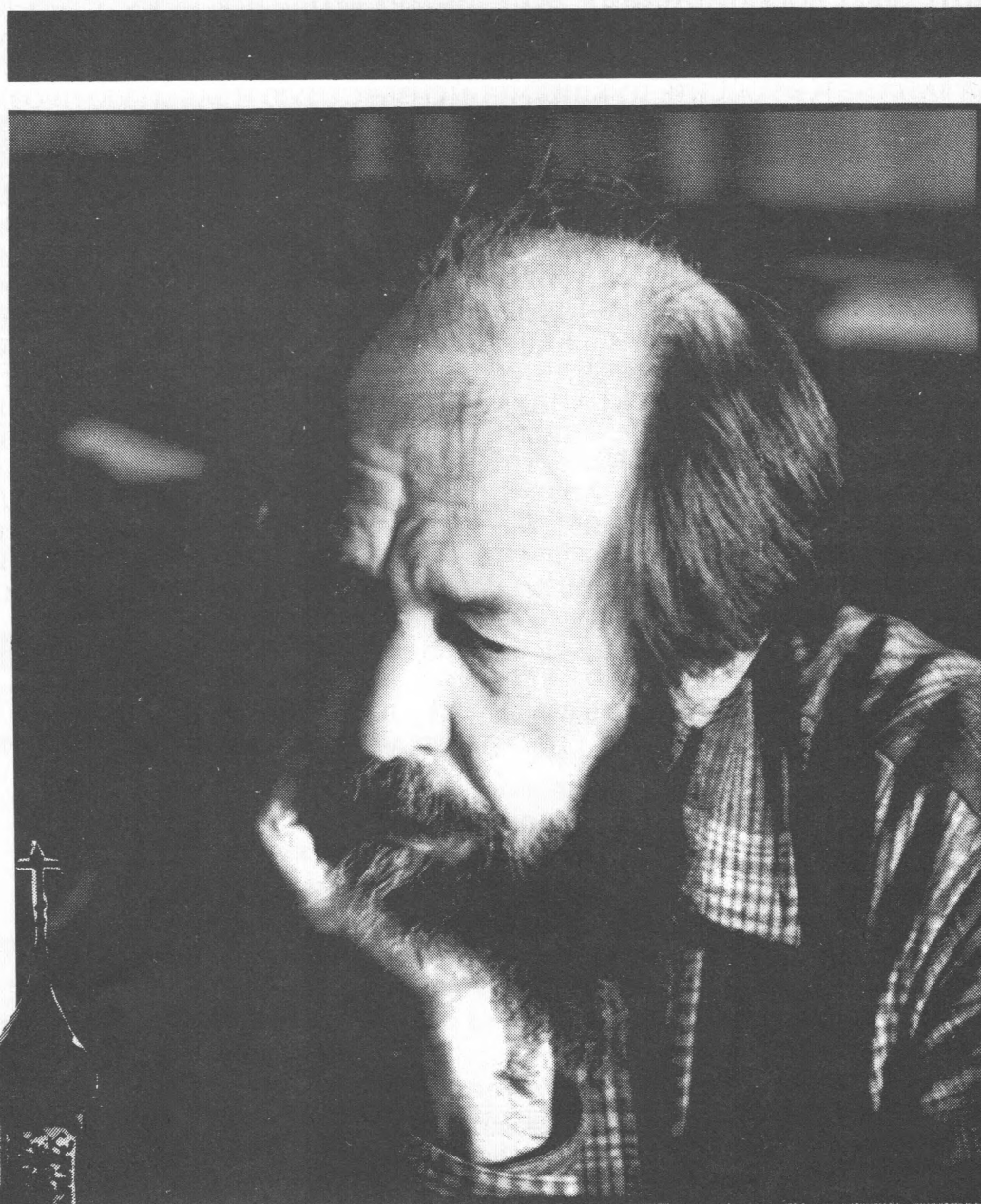
«Стрелец» — ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли

\$3.50

январь 1988

**«Гласность,
честная
и полная
гласность —
вот первое
условие
здоровья
всякого
общества,
и нашего
тоже».**

А.И.Солженицын



СТРЕЛЕЦ

объявляет подписку на **1988** год

В ЖУРНАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ, ИНТЕРВЬЮ, ВОСПОМИНАНИЯ, ЭССЕ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, КИНО, ТЕАТР, ПУБЛИЦИСТИКА. «СТРЕЛЕЦ» ПЕЧАТАЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ В ЭМИГРАЦИИ, И В МЕТРОПОЛИИ, РЕЦЕНЗИРУЕТ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ, ВЫШЕДШИЕ НА ЗАПАДЕ И В РОССИИ, ПУБЛИКУЕТ НЕИЗВЕСТНУЮ И ЗАБЫТУЮ ПРОЗУ 10—Х — 20-Х ГОДОВ, ОСВЕЩАЕТ ТВОРЧЕСТВО РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ-НОНКОНФОРМИСТОВ, ДАЕТ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫСТАВКАХ РУССКИХ СВОБОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ В ЕВРОПЕ И США, МОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ. В ЖУРНАЛЕ ПОМЕЩАЮТСЯ СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ КАК РУССКИХ, ТАК И ЗАПАДНЫХ КРИТИКОВ И ИСКУССТВОВЕДОВ, ПОСВЯЩЕННЫЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ, ЛИТЕРАТУРЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. В ПОРТФЕЛЕ РЕДАКЦИИ НА 1988 ГОД: ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, ЮЗА АЛЕШКОВСКОГО, ЮРИЯ ГАЛЬПЕРИНА, ЮРИЯ МАМЛЕЕВА, ВИКТОРА НЕКРАСОВА, ВАДИМА НЕЧАЕВА, ДМИТРИЯ САВИЦКОГО, БОРИСА ФАЛЬКОВА, СЕРГЕЯ ЮРЬЕНЕНА И ДРУГИХ ПИСАТЕЛЕЙ-ЭМИГРАНТОВ; РАССКАЗЫ, ПОСТУПИВШИЕ К НАМ ПО КАНАЛАМ САМИЗДАТА ИЗ СССР: СТИХИ ДМИТРИЯ БОБЫШЕВА, ВАСИЛИЯ БЕТАКИ, НАТАЛИИ ГОРБАНЕВСКОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА РАДАШКЕВИЧА, МОСКОВСКИХ И ЛЕНИНГРАДСКИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ПОЭТОВ; В РАЗДЕЛЕ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ» ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОПУБЛИКОВАТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СОВРЕМЕННОМУ ЧИТАТЕЛЮ РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ И РОМАНЫ ЮРИЯ АННЕНКОВА, ГАЙТО ГАЗДАНОВА, ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА И ДР.

ВАС ЖДУТ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА, ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЯМИ, ПОЭТАМИ И ХУДОЖНИКАМИ, СТАТЬИ ВЕДУЩИХ КРИТИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ ЭМИГРАЦИИ.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕСЫЛКУ: 36 ДОЛЛАРОВ ИЛИ 336 ФР. ФРАНКОВ.

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

В США — ALEXANDER GLEZER, 286 BARROW ST., JERSEY CITY, N.J. 07302, U.S.A.

В ЕВРОПЕ — ALEXANDRE GLEZER, CHATEAU DU MOULIN DE SENLIS, 91230, MONTGERON FRANCE.

1 январь 1988

пятый год издания



Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ



Фото:

АРТУР ВЕРНЕР
НАТАЛЬЯ ШАРЫМОВА



PUBLISHERS: Third Wave Publishing house, a project of
(C A S E) the Committee for the Absorption of
Soviet Emigres, 80 Grand Street
Jersey City, New Jersey 07302
Arthur Abba GOLDBERG, Chairman

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Адрес редакции во Франции
Alexandre Gleser

Chateau du Moulin de Senlis
91 230 Montgeron
France



Цена номера — \$3.50 28F 9D.M.

Годовая подписка — \$36.00 336F 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется
за счет редакции

THIS PROJECT IS DONE AS A PUBLIC SERVICE BY THE
COMMITTEE FOR THE ABSORPTION OF SOVIET
EMIGRES FOR RUSSIAN SPEAKING INDIVIDUALS
THROUGHOUT THE WORLD INTERESTED IN THE CAUSE
OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOM FOR INDIVIDUALS.
FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT BELLA
VOLFMAN AT 80 GRAND STREET, JERSEY CITY, NEW
JERSEY 07302 PHONE 201-332-9191

© 1988 by Committee for the Absorption
of Soviet Emigres. All rights reserved

Library of Congress Catalog Card
No; 84-8582 ISSN: 0747-7287

- 4 ВЕРОНИКА ДОЛИНА — «НО РЫДАЕТ, КАК
ВДОВА, НА ГРУДИ ТВОЕЙ МОСКВА...»
СТИХИ
- 6 ЮРИЙ МАМЛЕЕВ — УТРО. РАССКАЗ
- 10 ВЛАДИМИР ДУРНОВО — «ПРОСКАКАЛ НА
РОЗОВОМ ГЕНСЕК». СТИХИ
- 12 ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН — ДВА РАССКАЗА ИЗ
КНИГИ «В ЭТОЙ ЖИЗНИ»
- 13 КИРА САПГИР — АПОКАЛИПСИС «БУДДЫ
С ПОРТФЕЛЕМ»
- 14 ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — «Я
ПРОВОЖАЮ КОРАБЛИ...»
- 16 МИХАИЛ ГЕЛЛЕР И ВЛАДИМИР
МАКСИМОВ — БЕСЕДЫ О
СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ.
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР
- 18 ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН — ИСК. РАССКАЗ
- 24 ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ
ВОЙНОВИЧЕМ
- 31 ДОРА ШТУРМАН — СОЛЖЕНИЦЫН И
ДЕМОКРАТИЯ. ГЛАВА ИЗ КНИГИ
- 44 АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР — ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
БОРЬБЫ И ПОБЕД

ОТ РЕДАКЦИИ

11 декабря 1988 года исполняется 70 лет А.И.Солженицыну, крупнейшему на наш взгляд, русскому писателю послестолетовского времени. Солженицын — целый духовный мир, не только уникальный мастер литературного и публицистического слова, но и — микрокосм, внесший достойный христианина и действительный корректив во все умонастроение XX века с его леволиберальной идеологией и шигалевскую практику.

«Архипелаг ГУЛАг» — книга, нанеся смертельную рану тоталитарному обществу, после которой единственное на что оно способно — это на продление собственной же агонии...

Эпопея «Красное колесо», над которой и ныне продолжает работу писатель, — впервые раскрыла, расшифровала, суммировала и явно вывела причины российской катастрофы, чреватой для мира неисчислимыми бедствиями; разбила миф о «бескровном демократическом Феврале». Книгу эту еще предстоит осмыслить. Первые отзывы (как и в случае «Войны и мира» Толстого) и отдаленно несоразмерны масштабу «Красного колеса», несмотря на всю казалось бы, их широкую амплитуду: от восторженных — до откровенно спекулятивных и даже... маразматических.

Между тем, российское самосознание, мироощущение — будут и впредь пребывать в жалком плену мифов (как левого так и правого толка) — покуда историософия солженицынской эпопеи не станет, наконец, осознана аналитично и непредвзято...

1988 год «Стрелец» объявляет ГОДОМ СОЛЖЕНИЦЫНА. Мы ждем и надеемся — на новые интересные материалы, статьи, рецензии — на книги А.И.Солженицына.

Когда в прошлом году в Нью-Йорке выступал Булат Окуджава, ему задали вопрос: «Кто из новых поэтов-бардов, на ваш взгляд, наиболее талантлив?». На это Окуджава ответил коротко: «Вероника Долина». И добавил: «У нее есть все, что необходимо для подлинно поэтической работы — одаренность, вкус, трудолюбие, вдохновение и некий загадочный элемент, который до сих пор, к счастью, еще не изучен».

В Москве Вероника Долина сейчас очень популярная в хорошем смысле этого слова, ее выступления неизменно пользуются большим успехом. В Париже в 1987 году вышла первая книга поэтессы. «Стрелец» предлагает вашему вниманию большую подборку произведений В. Долиной, составленную нами на основе двух магнитофонных записей ее выступлений.



вероника долина

*«...но рыдает,
как вдова,
на груди твоей
Москва»*

два посвящения владимиру висоцкому

* * *

Годовщина, годовщина —
Встречи горькая причина.
Наступила тишина...
Помяни его, страна.

Годовщина, годовщина —
Не свеча и не лучина,
Не лампадный фитилек, —
В пепелище уголек.

Годовщина, годовщина.
Это новая морщина
На моем живет лице,
Словно память о певце.

Годовщина, годовщина,
И тоска неистощима,
И несется над Москвой
Хриплый голос твой живой.

Годовщина, годовщина.
Мать-старка качает сына —
Баю-баю, спи сынок,
Я с тобою сбилась с ног.

Годовщина, годовщина,
Города умолкли чинно.
Но рыдает, как вдова,
На груди твоей Москва.

* * *

Поль Мориа, уймите скрипки!
К чему нагрузки?
Его натруженные хрипы —
Не по-французски.

Пока строка как уголь жжется,
Пластинка трется,
Пусть помолчит, побережется,
Не то сорвется.

Всадник утренний проскачет,
Близкой боли не тая.
Чья-то женщина заплачет,
Вероятно, не твоя.

Лик печальный, голос дальний,
До небес подать рукой.
До свиданья, до свиданья,
До свиданья, дорогой!

А кто-то Гамлета играет,
Над кем не каплет.
И новый Гамлет умирает.
Прощайте, Гамлет!

Но вот и публика стихает,
Как будто чует:
Пусть помолчит, не выдыхает, —
Его минует...

По таганским венам узким
Изливается Москва.
А вдова с лицом французским
Будет много лет жива

Вон газетчик иностранный
Дико крутит головой.
Кто-то странный, кто-то пьяный,
Кто-то сам полуживой.

Усни спокойно, мой сыночек,
Никто не плачет...
О, этот мир для одиночек
Так много значит.

Переулочек глубокий,
Нету близкого лица.
Одинокий, одинокий,
Одинокий до конца!

* * *

Булату Окуджаве

Я с укоризной Богу говорю:
Прости, Господь, что я тебя корю,
Но я горю, ты видишь сам, как свечка,
Когда глаза в глаза тебе смотрю.

Бог отвечает: это пустяки,
Ну что тебе не спится, не живется?
Смотри, вот-вот твой голосок сорвется,
Сердечко разобьется на куски.

А я с волнением — Боже, извини,
Ты положенье все же измени!
Ты видишь, как мне далеко до неба
И как уже далеко от земли!

Бог отвечает: дурочка моя,
Я ни за что на свете не в ответе,
А если б мог решать проблемы эти,
Я б был не Бог, я б был не я.

О Боже, я в тревоге и тоске,
Я полагала — ты-то мне поможешь.
А ты не можешь, ничего не можешь,
Хоть я прошу о сущем пустяке!

Но Господа упрек мой рассердил.
Махнув рукой он скрылся в переулке
Он жил в Безбожном переулке
И на прогулки пуделя водил.

ПОЛНОЛУНИЕ

И была на целом свете тишина.
И плыла по небу рыжая луна.
И зайчоночка волчиха родила.
И волчоночка зайчика родила.

И зайчиха была верная жена,
И волчиха была честная жена,
Но зайчиха теперь мужу не нужна,
И волчиха теперь мужу не нужна.

Ты зачем, жена, зайчонка принесла? —
Он от голода, от холода помрет!
Ты, зачем, жена волченка родила?
Он окрепнет, осмелеет — нас пожрет.

Та качает свое серое дитя,
Та качает свое серое дитя.
Та качает свое хищное дитя,
Та качает свое лишнее дитя.

И стоять на целом свете тишине,
И луне на небо черное всходить.
И зайчоночка родить одной жене,
А другой жене волчоночка родить.

ПЕСНЯ СЕРОЙ ШЕЙКИ

Какие тут шутки,
Когда улетает семья?!
Последствия жутки,
Об этом наслышалась я.

Судьба — не копейка.
Мне попросту не повезло, —
Я Серая Шейка
И мне перебили крыло.

Семья улетает.
Прощайте, прощайте, семья!
Меня угнетает,
Что сестры сильнее, чем я.

— Взлетай, неумейка! —
Мне эхо с небес донесло...
Я — Серая Шейка
И мне перебили крыло.
Гляжу близоруко,
Гляжу безнадежно во мглу.
Но я однорука
И, значит, лететь не могу.

— Счастливо, счастливо, —
Кричу я вдогонку семье.
Тоскливо, тоскливо
Одной оставаться к зиме.

Тоскливо и жутко
Готовиться к лютой зиме.
Последняя утка,
Последняя утка на этой земле.

Судьба — не копейка, —
Мне здешние птицы твердят.
Я — Серая Шейка.
Пускай меня лисы съедят!

СТАРОЕ ФОРТЕПЬЯНО

Мое расстроенное старое фоно,
Я полагаю, ты недаром мне дано.
Ты мне досталось, как я помню, по наследству
От детства, миновавшего давно.

Как сильно стерся твой орнамент-позумент,
Но как люблю я старый мамин инструмент
За то, что он мою спасает душу
В последний и опаснейший момент.

Когда я трогаю расстроенный твой строй,
Сама в расстройстве, не в ладу сама с собой
И о своих вдруг забываю неполадках —
Овладевает мною твой настрой.

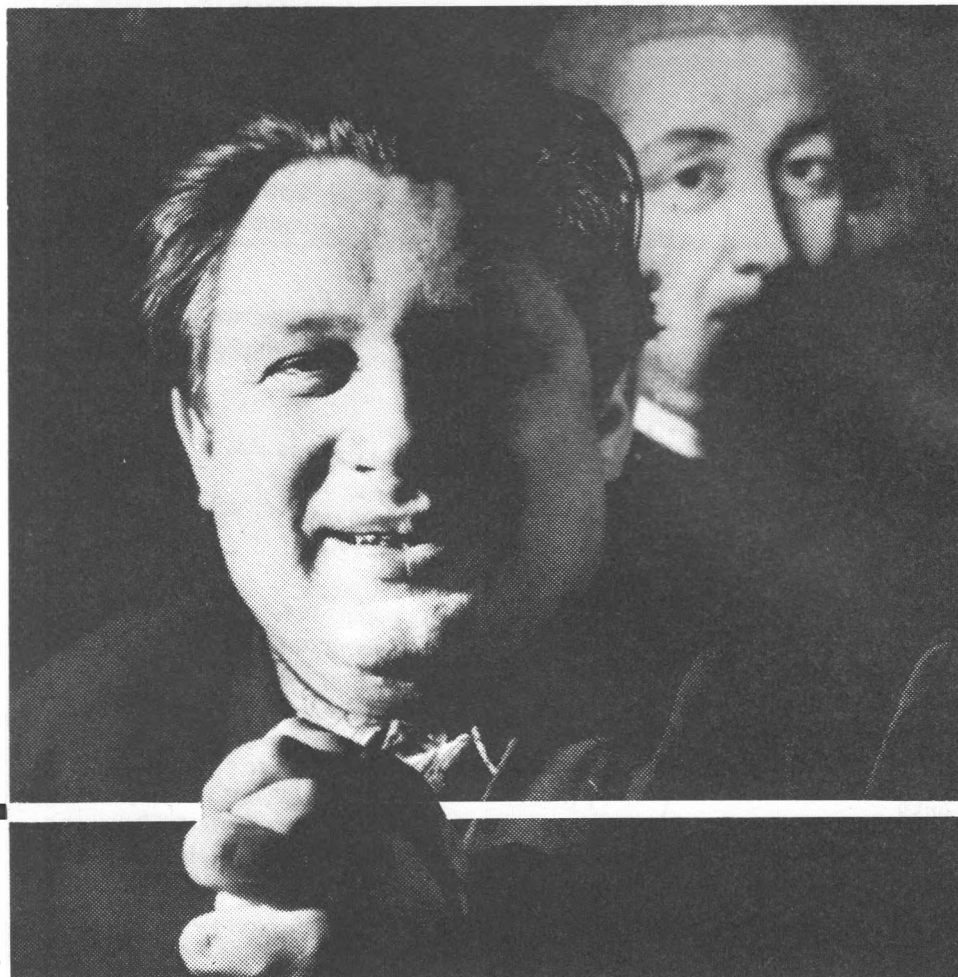
Мое расстроенное фоно,
Вот и одно мне в утешение дано.
Я не хочу, чтоб приходил настройщик,
Ведь быть в расстройстве не запрещено.

юрий мамлеев

УТРО



РАССКАЗ



ВАСИЛИЙ НИЛЫЧ КОШМАРИКОВ ЖИВЕТ В ДВУХЭТАЖНОМ, ДЕРЕВЯННО-ПОКОСИВШЕМСЯ, ТОЧНО ПЕРЕПУГАННОМ, ДОМИШКЕ. ВОКРУГ ДОМИШКИ ТЬМА-ТЬМУШАЯ ДОСЧАТЫХ УБОРНЫХ; ДЕЛО В ТОМ, ЧТО УБОРНЫЕ ДЕЛАЛИСЬ ТАК НЕАККУРАТНО, ЧТО ВЫХОДИЛИ ИЗ СТРОЯ КАЖДЫЕ ПОЛГОДА; И ВМЕСТО СТАРЫХ ТАК ЖЕ АЛЯПОВАТО, НАСПЕХ, СБИВАЛИСЬ НОВЫЕ, ПРИЧЕМ ПОЧЕМУ-ТО НА ДРУГИХ МЕСТАХ. ПОЭТОМУ И ДОМ, ГДЕ ЖИЛ ВАСИЛИЙ НИЛЫЧ КОШМАРИКОВ, БЫЛ ОКРУЖЕН ЦЕЛЫМИ РЯДАМИ УБОРНЫХ, КОТОРЫЕ СТОЯЛИ ТОЧНО ПОЗАБЫТЫЕ НЕВЕСТЫ, ВОЗДЕВАЯ РУКИ К НЕБУ.

Какой-нибудь пьяный житель иногда забредал вместо действующей в заброшенную и долго, матерясь, выбирался оттуда, вконец перепачканный. Сам же Василий Нилыч считал, что уборные придают местному пейзажу, особенно если смотреть из окна, очень утонченный и таинственный вид. Они оттесняли на задний план виднеющиеся из окон трубы заводов, реку, точки домов и лесной закат.

Василий Нилыч очень любил этот вид.

Кроме него, Василий Нилыч любил еще детей. Но это была своеобразная любовь. Когда-то, в молодости, он даже ненавидел их. Но теперь это позади; сейчас Василий Нилыч просто не обращает на живых внимания; любит же он преимущественно мертвых. И даже не собственно мертвецов, а сам процесс смерти и его осознание.

Оговорюсь: Василий Нилыч страшный сластена. Хотя его комната необычайно грязна и даже до неприличия заброшена, сахарок — беленький такой, в чашечке — там всегда есть,

и даже прикрыт платочком. Сам Кошмариков, будучи в молодости — сейчас ему лет тридцать — очень загнан и забит — теперь большой говорун и хохотун; особенно на работе, когда от людей все равно не уйдешь; но хохотство его характера дальнего, призрачного, он хохотнет, хохотнет тебе в лицо, и вдруг умолкнет, как оглашенный; да и хохот его не по существу, а так, по надобности, как в уборную сходить.

Зато на улицах Кошмариков с людишками — ни-ни; ни, чтоб выпить там, поматериться; даже старушку, споткнувшуюся, издали обойдет.

К себе, в комнату, тоже никого не пускал. Но в кухне, где народу не избежать — опять бывал говорлив; даже обходителен.

— Если бы мы, Вася, как ты хохотали, мы вона какие здоровенные б были, — говорили ему старушки-соседки. — А ты вон какой хиленький; смех-то он мимо тебя идет.

Они боялись его.

Должен сказать, что главную Васину черту: любовь к тому, чтобы кто-нибудь знакомый умирал, особенно из близких, соседи за долгую многолетнюю жизнь хорошо изучили. Прежде всего во время этого Василий Нилыч прямо-таки хорошел: личико бывало раскраснеется, глазки блестят, весь такой деловой ходит, как на крылышках. О здоровье вечно справляется. Очень пугал он всех тогда своей радостью. Поэтому все знали: если Кошмариков начищенный ходит, бритый, все пуговицы пришиты и ширинка застегнута — значит кто-нибудь из его знакомых помирает. А знакомство Кошмариков разводил преогромное: очень об-

штителен был, потому что тогда больше шансов найти кандидата в покойники.

Если б не эта черта, Кошмариков был бы вполне терпим для соседей. «Бойкий он очень и жизнерадостный», — говорили про него. Но когда кто-нибудь в квартире заболел, то врача вызывали с оглядкой, чтоб Васенька не заметил, по ночам, и провожали его через задний ход. Болезнь свою тщательно скрывали, даже в ущерб своему здоровью.

Сейчас, перед этим знаменательным утром, уже как год, но из близких Кошмарикова никто не помирал. Он ходил совсем грустный, опущенный и взялся было уже за сублимацию. То котенка где-нибудь удавит, то в морг забредет. «Но чужие это не то, — думал Кошмариков. — Разве сравнишь, когда друг умирает. Здесь ты человека несколько лет знал, весь он у тебя на ладошке, как в кино. Интересно.»

И он уже совсем загрустил, опустил, стал пить... На днях его даже надули: обещали познакомить с девицей, у которой было три инфаркта, но после первой же ночи выяснилось — что это ложь, а девице нужно было только потерять свою невинность.

«Сублимироваться надо, — думал Василий Нилыч, бредя домой. — А то дойдешь... Вся жизнь как сон идет... Жрешь, хохочешь, по бабам шляешься... А чтоб что-нибудь существенное, помер чтоб кто-нибудь — ни-ни...»

С такими мыслями, закутавшись в грязное одеяло, он заснул.

«Самому помереть что ли, только б со стороны посмотреть», — последнее, что мелькнуло у него в уме.

Наутро Вася проснулся разбуженный истерически-радостным стуком в дверь. Ломился Володя Косицкий, его посыльный по части смерти. Кошмариков, голый, без трусов открылся...

— Николай Голда умер, — выпалил Косицкий. — С тебя четыре рубля за новость.

Кошмариков опустился на стул, и хотя голому задку было холодно, сердце ёкало и оживлялось, как от теплой ванны.

— Друг помер! Настоящий, вправдошный! Первый раз в жизни! — возопил Кошмариков и полез доставать четыре рубля для Косицкого. Ему захотелось, чтобы Косицкий отсутствовал, или во всяком случае замер, чтоб была тишина и ничего не существовало, кроме огромного образа Николая Голды в его воображении...

«Ушел, ушел, — хихикалось у него в груди, — ушел».

Косицкий за долгую службу прекрасно знал состояние своего хозяина и мышкой шмыгнул в уголок, на детский стульчик, и притих.

Швырнув ему четыре рубля, Кошмариков стал одеваться. Ему захотелось помолчать, чтобы прочувствовать себя императором. Человечества для него уже не существовало. Существовал только он, Кошмариков, и Голда. Но Голды уже не было: он — иих! — исчез. А он, Кошмариков, — живчиком себя ощущает; даже пустоту в животе чувствует. Он так рос и рос в своих глазах; комната казалась маленькой, а он большим, большим, словно пробивающим головой потолок. «Никаких корон мне не надо, — подумал Кошмариков, глядя на себя в зеркало. — Я памятник воздвиг себе нерукотворный», — провизжал он про себя.

Торжество пело в его теле. Николая Голду он знал еще с детства: вместе ходили на лыжах, вместе списывали уроки, вместе мечтали о будущем...

Вдруг лицо Кошмарикова исказилось. Он прыгнул к Ко-

сицкому и схватил его за горло. «А ты не врешь, падло...», —дохнул он ему в лицо.

— Что ты, Вася, что ты, — прошипел Косицкий.

— Самого святого касаешься, — Кошмариков сделал страшные глаза.

— Убей Бог, Вася, — захныкал Косицкий. — Чтоб меня громом убило... Поди сам проверь... Разве я способен на такое...

Кошмариков резко бросил его горло и, заложив руки в карманы, заходил по комнате. Он весь превратился в огромную, знающую себе цену, радость. И хотя сам Голда никогда ничего плохого ему не сделал, Вася чувствовал, что вместе со смертью друга ушел в небытие и весь мир, со всеми его обидами, что ушли в небытие и отомщены все прошлые издевательства над ним самим, над Васенькой, хохотушки, насмешки, щелчки и занозы. И что он уже не просто Василий Нилыч Кошмариков, служащий конторы «Рыбсбыт», а личность и в некотором роде Наполеон.

Мир стал чист и приятен, как утренний воздух Крыма.

«Теперь можно и в Бога поверить», — тихо и потайно сказал Василий Нилыч, поцеловав свое изображение в зеркале.

Он походил по комнате еще полчаса, поглаживая себя по брюху и смакуя разлитое по всему телу духовное удовлетворение.

Косицкий сидел в углу и тихо поедая завтрак. Наконец Василий Нилыч круто обернулся к нему и сказал: «Рассказывай». И решительно сел на стул против него. Начиналась следующая фаза. Косицкий икнул и, ощутив в животе теплоту сыра, глядя на Кошмарикова похабно-преданными глазами начал:

— Ты ведь знаешь, что Коля давно хромал... Что он волокардин в кармане держит, я уже тебе полгода назад докладывал, — Косицкий облизнулся и погладил кусок сыра, прежде чем проглотить его. — Справку у врача я тоже навел... Хотя и пришлось, стерву, поиметь за это... Так что все к концу шло. Но насчет срока, — причмокнул Косицкий, — сказать трудно было. Марья Кириловна — врачиха эта — бывало, лежа в постельке со мной, целый час, жирняга, прикидывала, когда срок. Но ошиблась, дура. Как напивалась, всегда говорила, что завтра помрет и в ухо меня целовала; а как по трезвости — то всегда через три года говорила.

— К делу, к делу переходи, — буркнул Кошмариков. — Как помирал.

— Значит так... Может, сначала телевизор посмотрим, Вася, — тоскливо расхрабрился Косицкий.

— Телевизор на том свете будешь смотреть, курва, — оборвал Кошмариков. — Говори, не томи.

— Значит, так... Вот что я пронюхал... Колину смерть девки ускорили... Без блядей он, небось, еще, может, жил... Знаешь ты, что с юга он вернулся ошпаренный и сердечко, как листик, трепыхалось. Но природа свое брала — после курорта жиреть стал. Ну дело ясное: тем более комната есть, магнитофон, пластинки. Девочек видимо-невидимо. На работу ему в редакцию звонят...

— К делу, Володя, к делу, — тихо заскулил Кошмариков, сжимая пальцы.

— Сахарку, сахарку подложи, Вася, — прослезился Косицкий. — Я ведь от тебя сластеной стал... Ну, так вот... Зинка эта была с норовом... Дери, говорит, меня по-французски. Ну, а Коля парень стильный, фотокорреспондент, в Минске

бывал. Стройной такой, как лошадка. Бабий угодник, — вдруг взвизгнул Косицкий, пролив чай. — Я ведь по твоему примеру и тело его изучал... Хи-хи... Всякие там тайнички... Ну, так вот. Отказаться Коля не мог. Я скорее — говорит — фотокорреспонденцию дам похуже, но как пред бабой не осрамлюсь, так и в рубашке неглаженной не выйду... Ну известно, кобель, — хихикнул Косицкий. — А Зинка то баба рыхлая, пузатая, не французская... Навалилась она на него, горемычного, всем грузом и сердечко больное грудицей своей придавила... Сначала было ничего... Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Николай покурил, тело стройное кобелиное погимнастил; Зинка-то грехи в детском корытце смыла и ушла к себе телявизор смотреть... Он ей звонит через час и говорит: «плохо мне что-то, Зин, приезжай...». Зинка ему отвечает: «а ты телявизор посмотри, радио послушай. Потом в кино сходи». Николай подумал и проговорил: «у меня завтра работа», — и повесил трубку... Вечером она приезжает, а он уже холодный... На диванчике лежит, точно газету читает.

— А о чем думал перед смертью, а?! — бросился на него Кошмариков.

— О чем думал. Это выяснить надо. Опять же через Зинку, — озаботился Косицкий.

— Володь, и на работе надо разнюхать реакцию. К мамаше я сам съезжу... Похороны только б не пропустить, — потирая руки, урчал Кошмариков. — За дело, за дело берись. Вареный, — пожурил он Косицкого.

— Порки надо б починить, Вася, — засуетился Володя. — Чай не в театр идем, а на кладбище.

— Ну, брысь, надоел. Агитатор, — фыркнул Василий Нилыч.

Косицкий скрылся. Кошмариков погладил брюхо и задумался. «Прежде всего я поеду к бабе», — решил он, почувствовав прилив сил. Вообще последнее время член у него по настоящему стоял только, когда умирали его близкие.

«От бабы поеду в парикмахерскую, — продолжал он. — Начиститься надо, нахохолиться и к мамаше...»

Часа через два, ошалевший от сытости, он выползал из грязной конуры на улицу — от бабы. Он вспоминал не столько сам акт, сколько висевший в его воображении во время акта образ умершего Голды. Он как бы похлестывал его к жизни.

Мокренький и слегка слабоумный от соития, Кошмариков влез в парикмахерскую. Он не отрываясь смотрел на себя в зеркало, корчил мысленные рожи, сублимировал движения горла, а в мозгу все время вертелась мысль: о чем же думал Голда за секунду до смерти. Он так подергивался от укусов бритвы, что бредущая его жирная старушка-парикмахерша кончила.

Неузнаваемый, Кошмариков проскочил в переулок. В своем парадном костюме, теперь побритый и постриженный, он выглядел, как наглый и молодящийся фант. В довершение всего он купил в комиссионном тросточку и, помахивая ею, холеный, надушенный и спермотовидный, бойко вилял по тротуару. От удовольствия он даже слизывал с губ капли дождя.

Мамаша Голды — Варвара Никитишна — ахнула, открыв ему дверь.

— Василий Нилыч, никак вы женились, — пробормотала она.

— Ничуть нет, Варвара Никитишна; я соболезнавать

пришел, — сказал Кошмариков и, не спрашивая разрешения, как хозяин, прошел в комнату.

Варвара Никитишна, заплаканная, прошла за ним.

— Чайку бы с вареньем попить, мамаша! — высказался Кошмариков, развалясь на диване...

Вскоре Василий Нилыч стал необычайно говорлив, чай пил помногу, торопясь, обжигаясь; поминутно вскакивал, подбегал к различным вещам, книгам, безделушкам и блудливо спрашивал: «это покойного?!». Вещи покойного обнюхивал и чуть к свету не подносил, рассматривая. Мамаша Варвара Никитишна по простоте душевной думала, что он не в себе от горя. Но Василий Нилыч именно был в себе; он даже хлопывал себя по ляжкам. Ему вдруг вошла в голову шальная мысль лечь в постельку, где нередко ночевал покойный, заходя к мамаше на ужин. Лечь так, свернуться калачиком и подремать сладенько-сладенько под томную музыку — Шопена, скажем. Но он боялся, что Варвара Никитишна вызовет психиатра.

— Когда будут похороны, мать!? — весело закричал он на Варвару Никитишну.

— Завтра с утра, Вася, — беспокойно ответила Варвара Никитишна, — в Кузьминках.

Под конец Варвара Никитишна совсем обомлена и не зная, что подумать, разрыдалась. А на Кошмарикова напал нелепо-трансцендентный, но вместе с тем животный страх, что он может в этой комнате умереть. Одновременно давешнее веселье било через край. Поэтому Кошмариков пел песни, плевался, легонько матерился и убежал, захватив с собой рванный носок покойного...

А на следующий день были похороны. Василий Нилыч встал рано утром и почему-то пошел пешком. Косицкий приехал в Кузьминки еще с вечера и заночевал в сарае. Кошмариков прискакал вовремя, но усталый, злой и сходя голодно спросил: «где гроб?».

— Запаздывают, Вася, — засуетился Косицкий.

— А может, ты проглядел, губошлеп, — уже похоронили... Надо было задержать... Убью, курва, — надвинулся Кошмариков.

— Что ты, Вася, что ты! Я все кладбище обегал. Запыхался. Никого нет, — юлил Косицкий.

Гроб и правда запаздывал. Наконец он появился. Все пошло как по маслу. Кошмариков вертелся, расталкивал всех и норовил быть поближе к гробу. Он начисто забыл все то доброе и хорошее, что делал для него Голда, и сосредоточился на двух-трех мелких, пакостных обидках. Сердце его ныло от сладострастного отмщения; «вот тебе, вот тебе», — приговаривал он про себя, тихо взвизгивая. Он даже не ел, а весь ушел в мысли и созерцание мертвого лица.

В это время опять почему-то произошла задержка; гроб поставили около кустов.

Тут-то из-за дальних деревьев, на почтительном расстоянии, раздались истошный крик и звон гитары. Это Володя Косицкий пропивал заработанные четыре рубля.

Кошмариков кинулся к нему. Володя плакал.

— Грустно, Вася, — ныл он. — И денег мало.

И вдруг Косицкий во всю запел, обнажив крысиные зубки.

— Уймись, Володя, — увещевал его Кошмариков. — На нас смотрят. Сорвешь мне весь транс...

Гроб между тем двинулся с места. Кошмариков пугливо обернулся и, дружелюбно-многозначительно хлобыстнув

Косицкого по члену, побежал за гробом. Через несколько минут он опять включился в торжество и умиление.

Но вскоре Кошмариков осознал, что в последний раз видит лицо друга. Да и момент перед засыпанием в могилу был какой-то тревожно-сумасшедший, точно всех хоронили. Поэтому Вася иногда впадал в какое-то дикое, инфантильно-олигофренное состояние: то ему хотелось помочиться, то всплакнуть от жалости к себе, то брыкаться. Но когда гроб засыпали и вместо лица Николая оказалась земля — Кошмариков опять вошел в прежнее горделиво-возвышенное состояние. Он даже стал важно приподнимать с земли упавшую Варвару Никитишну. Помахивая тросточкой, франтовитый, он прохаживался между оцепеневшими провожающими.

— Строг, строг, строг, Василий Нилыч, к людям, строг, — перешептывались они.

Но они были живые, и Василий Нилыч был к ним равнодушен. Отделившись от них, он засеменял вперед, по дорожке, веселый и удовлетворенный, как после удачного любовного свидания. Какая-то сила несла его на своих крыльях. У входа к нему выбежал немного отрезвевший Косицкий.

Кошмариков схватил его за ворот.

— Володя, учти, — сказал он. — Нужна цепная реакция. Одного Голды мало. Я не насыщусь. Ищи мертвецов, хоть дальних... Понял?

— Все ясно, Вася, — просиял Косицкий, сузив глаза. — Я хоть и пьяненький, хоть сейчас поеду... Ты ее видел... Есть у меня на примете одна... Девка молодая...

— Ну, бегом, — весело гаркнул Кошмариков.

Косицкий, как дитя, виляя задом, вприпрыжку побежал к автобусной остановке.

— Я чичас! — кричал он Василию Нилычу, размахивая рукой.

А Кошмариков твердой походкой один пошел по шоссе. По мере того, как он шел, веселье с него сходило, уступив место важности. Голову он задрал вверх, шагал не глядя под ноги, и смотрел все время на небо и солнце.

Из проехавшего мимо автобуса, Косицкий увидел его. «Мечтает», — умиленно хихикнул Володя.

«КОНТИНЕНТ»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ,
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И РЕЛИГИОЗНЫЙ ЖУРНАЛ.

Главный редактор ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.
Зам. главного редактора НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ.

Ответственный секретарь ВЮЛЛЕТТА ИВЕРНИ.
Зав. редакцией АЛЕКСАНДР НИССЕН.

Редакционная коллегия: Василий Аксенов, Ценко Барев, Николас Бетелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Армандо Вальядарес, Ежи Гедроиц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлигг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Эрнст Неизвестный, Амос Оз, Норман Подгорец, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Сидней Хук, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрём.

Стоимость годовой подписки: 40 западногерманских марок.
Цена номера в розничной продаже:
10 западногерманских марок.

Адрес Генерального представительства:
A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB.

Bauerstr. 28, 8000 Munchen 40, West Germany.

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank Munchen Nr. 6304630.
Postscheckkonto: Munchen 147391-804.

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

ПОЭТ ИЗ УФЫ

Владимир Дурново — поэт-невидимка, обреченный на одиночество своими стихами и образом жизни. Обречен он также и на неподдельный успех: когда его лирика доходит до потребителя — тот негодует. Причем, избегая признавать такие стихи — стихами, сразу начинает шельмовать автора: подонком и проходимцем.

На самом же деле невидимка Дурново — толстяк-семьянин, кормилец и домосед. Стихи пишет по ночам, когда дети и жена спят, при свете карманного фонарика или сумрачного висячего лампiona из-за окна. И складывает их в кухонный ящик.

Впрочем, когда-то все было иначе. Он читал свои стихи при каждом удобном и неудобном случае, в московских и ленинградских кружках, получал своего законного «подонка» — и начинал сначала. А еще раньше он в стихи совсем не верил, писал прозу, которой скопил немалый чемодан. С прозой дело обстояло привычно: для начала какая-то зонально-республиканская премия, а потом — подонок.

Вера в поэзию появилась в Володе, когда ему было за тридцать, и в этом он тоже вполне оригинален, Кручёныха. И такой способ самоизъяснения как нельзя лучше совпал с образом окружающего Володю мирка, с образом его, Володи, затрепанной в пухлом теле, ранимой, полудевичьей души. Конечно же, на двуспальном рынке официальной и салонной поэзии его притаптывали тем жутче, чем лучше и точнее он изъяснял этот мирок. Потому что он — дух этого мирка, душок его маленькой эпохи. Как простой «ик»... Володя банален, как банален вокруг него мир. И так же, как этот мир, он не боится банальности. Стихи Дурново вызывают иногда произвольный смех, но когда читаешь то же вторично — его исключительная серьезность и вера, обреченная на одиночество и стихи.

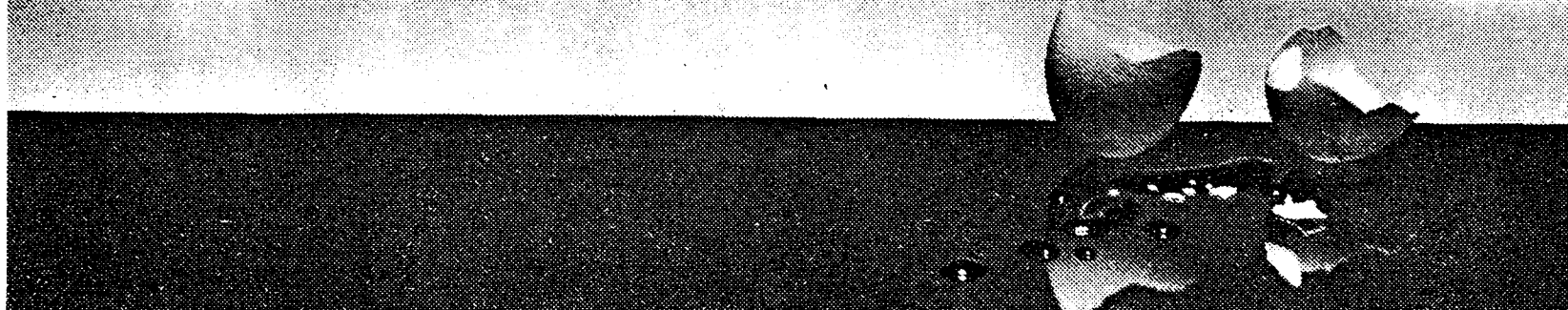
Борис Фальков

ВЛАДИМИР ДУРНОВО

Всполохи лучистые над Русью
в бархате осенних соболей,
острых сабель жала зимние
не жалеют обработанных полей.
Где ладонь, а где земля, попробуй
различи ты, книжный червь.
От того, быть может, плодородней,
что в пургу сумели мы сберечь,
пронесли от края и до леса
опухолей желтый хлеб,
По земле счастливо собирая,
проскакал на розовом генсек.

Мариэта Шагинян
не ходи ко мне по гравию
не выношу и скрип
половиц, хотя Он и ОНА —
святое..., но я то
здесь причем?

Та же скумбрия южнее —
и получится макрель.
Макрель на север —
и совсем другой фрукт.
Короче: в пустыне редиска штопор
И везде, везде они,
от Москвы до самых до окраин.



У тебя ужасно красивые глаза сегодня:
Вытянутые как автострада ночного Нью-Йорка.
Мелькают искорки машин: мустанги, шевроле, монако.
Два руля, два всадника — дороги две
движенья — два и Эйропорт.

Юноша обнаженный.
Юноша обнаженный — кинжал обоюдоострый.
Девушка обнаженная.
Девушка обнаженная — ножны обоюдострого кинжала.
«Вложите мечи свои в ножны!» — вскричал король.
Миру-мир!

Позвольте рядом спать
чтобы одуматься,
прохладной стенки трогая
бедро, знать
что вам не ленился и все равно
какое быть должно
бомбоубежище.
Стремянка сил, на вызов боли помощи
сигнал по буквам:
р а з ы щ и
его без посторонней помощи
вблизи конечностей
под ногтем черным полумесяцем
Сизиф.

«проскакал на розовом генсек»

Дорогие мои просители!
Сколько лет я в постели лежу,
а вы рядом видите и смотрите,
без меня да гульнув на ветру.

Что повеять вам, молвить что?
Обрету себе ноги как
и пину побешуся так
аки молот татар кутак.

Полюби меня и пролежни,
в них какие-то гады живут —
яйцекладу заложат с утрава,
а в обед соберут... жрут.

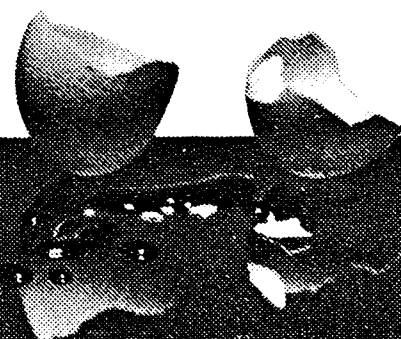
Носа нет, рта нету, и брови
покусала проказа зла.
Я ее подхватил в чистом поле,
в те года состоя в комсомоле
строй-отряда вожак — литрук.

окацияПров стоитПред
припрыжку В бегу я
глупыйНаи
кудыкину На гору я бегу
хозяйственныеСельско закончились
дела.
Сезон.
мурА.
сталь-Азов
зонкаАмо
мутрПерл ламутровыйПер
аслоМ сляноеМа
Перькрасно-ЭТО.

Что там годы — шесть шестерок
в лагере...
Двое совершеннолетних
могли бы пожениться
если б захотели.
Три конфирмации, будь
я трижды девочкой.
Но уже 36 раз по 100
я говорю себе:
«Давай поцелуем действительность
еще раз, без последствий!»

Прикоцанный парень
в могиле лежит
и молча в глаза
он лопате глядит:

«Лопата, лопата,
меня пожалей
родился я в роще,
где жил соловей».



ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН



два рассказа

из книги «В этой жизни»

• 1 •

МНЕ ВСЕГДА КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЮРИС КУДИС, ЗДОРОВЕННЫЙ ДЕБИЛ, ИЗДЕВАВШИЙСЯ НАД АРЕСТАНТАМИ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ГАУПТВАХТЫ, КОНЧИТ ПЛОХО. ЛЮБИМЫМ ЗАНЯТИЕМ ЕГО БЫЛО ПРОКАЛЫВАТЬ РЕБЯТАМ НОГТИ ЛАТУННОЙ ИГОЛКОЙ СВОЕГО КОМСОМОЛЬСКОГО ЗНАЧКА. Так оно и вышло, от судьбы он не спрятался.

Разобраться с ним много раз собирались постоянные клиенты легендарной гауптвахты, где он служил старшиной комендантского взвода. Но Йонас Вайткус каждый раз отговаривал: подождите, мол, время придет. Ему не слишком верили, все-таки оба они литовцы, земляки и похоже было, что покрывают друг друга. Но Вайткус твердил упорно. „Вы его мне оставьте и успокойтесь. Забудьте о нем”.

После демобилизации Кудиса два дня поджидали на железнодорожной станции. Но он к поезду не явился. Он обманул мстителей: доехал автобусом до Мурманска и улетел в Вильнюс из аэропорта Килпа-Ярви.

Долго мы ничего о нем не слышали. Но через полгода явился майор из окружной прокуратуры, он допрашивал всех, кто во времена Кудиса по несколько раз сидел в Оленьей. Тогда же на свет Божий выплыло многое из темных дел, творившихся за невзрачным дощатым забором, обтянутым поверху колючей проволокой. Коменданта гауптвахты Степашенко, развлекавшегося заодно со старшиной, сняли и разжаловали. Однако и при новом коменданте порядки там сохранились прежние, место, видать, такое. Напасть же на след мстителей следствию не удалось.

В эти дни я приезжал в командировку на авиабазу Высокое и столкнулся на улице военного городка с Йонасом Вайткусом. Он знал о следователе и выглядел испуганным именинником. Майору из прокуратуры о встрече с Вайткусом и о своих впечатлениях я не рассказал.

О том, что произошло, в деталях я узнал позднее, через много лет, когда случайно на пляже в Юрмале наткнулся на раздобревшего и полысевшего Йонаса. Мы оба обрадовались

и на радостях отправились в бар, оттуда в ресторан, где засиделись до поздна, а потом гуляли по самой кромке вдоль берега, и Йонас вдруг открылся.

Песок под ногами был твердый, укатанный волнами. Море шипело в темноте. И над макушками сосен бездарными стекляшками мерцали звезды. Вайткус рассказывал спокойно, без прикрас.

Правильные люди разыскивали Кудиса. Он жил на северо-востоке Литвы, в глухом городке. Купил мотоцикл и собирался жениться. Однажды весенним вечером, в сумерки, его подкараулили на лесной дороге, когда он ехал на пьянку в соседний поселок. Через дорогу натянули проволоку, и он напоролся на нее сам. Деньги, документы, мотоцикл — все осталось на месте. Не было только головы. Ее искали и не нашли.

— Куда ж голова делась? — спросил я, начиная догадываться.

Йонас вздохнул и нехорошо прищурился.

— Кто его знает, — сказал он, закуривая сигарету, и бросил спичку на мокрый песок. — Говорят, послали по почте в Оленью. Коменданту Степашенко.

• 2 •

Скотник с поваром в огороженном дворе подсобного хозяйства морозной ночью выебли свинью. Это была молодая свинья, она сильно визжала и отбивалась. „Как баба”, — рассказывал скотник. Чтобы она не убежала, они обули ее в сапоги.

Никто бы и не узнал, если бы скотник не напился пьяным и не начал рассказывать. Он выложил все подробности. Невозможно было его остановить.

Когда повар узнал об этом, он схватил длинный кухонный нож и прибежал в казарму взвода хозяйственной obsługi. Скотнику стало совсем худо, и он не боялся ножа. Повар растерялся и начал уговаривать его замолчать, но потом понял, что поздно и опять рассвирепел. Он тоже был не в себе. Он просто сходил с ума от страха. Повар был уверен, что их расстреляют. Он опять замахнулся ножом. Солдаты держали его. Он был высокий и крепкий парень, но уже начинал жиреть. Физическая подготовка его оказалась слаба, — отбиваясь, он быстро выдохся. Он сидел на полу и тяжело дышал, когда явился дежурный офицер с нарядом.

Скотник лежал в койке и плакал. Услышав слова офицера, он вскочил и попытался выпрыгнуть в окно. Он успел высадить раму, но его тоже схватили. На грузовике под конвоем их отправили на гауптвахту и посадили в разные камеры. Караул относился к ним брезгливо, и никто не хотел после пить из их кружек. Через три месяца обоих судили за скотоложество и увезли в вторьму.

Свинью застрелили на скотном дворе из автомата. Стрелял старшина сверхсрочник. Он всегда стрелял с удовольствием. Потом тушу закопали под стеной. Заместитель командира по хозяйственной части остался недоволен. Он считал, что свинью можно было заколоть нормальным способом и потихоньку скормить батальону аэродромного обслуживания или строителям. Строителей кормили плохо, и они вечно ходили голодными. Но начальник штаба так посмотрел на него, что хозяйственный майор замолчал. И то верно, он сам эту свинью есть бы не стал.

АПОКАЛИПСИС «БУДДЫ С ПОРТФЕЛЕМ»

Волох и Вулах, и шизики все, и подонки:
Юра Мамлеев — брюхатое божество.
Лорик и Шурик и все его дочери —
Бледные девочки — темные почки —
Вы поклонитесь слоновым копытам
его!

— писал в цикле «Московские мифы»
Генрих Сапгир об авторе нынешнего,
вышедшего в издательстве «Третья
волна» сборника рассказов «Живая
смерть» — писателя Юрия Мамлеева.
«Третья волна» выпустила уже второй
сборник автора. Первый назывался
«Изнанка Гогена». По-английски у
Мамлеева вышла книга «Небо над
адам», по-французски — «Шатуны».
Публикует Ю.Мамлеев свои рассказы в
«Континенте», «Стрельце», «Новом
журнале». Была у него подборка и в
альманахе «Аполлон», где его проил-
люстрировал составитель — Михаил
Шемякин. Он же оформил нынешний
сборник рассказов.

Думается, что творчество Шемякина
и Мамлеева как-то взаимосвязано:
Шемякин — поклонник Мамлеева. Но
если на рисунках Шемякина — карна-
вал, комедия Дель-Арте (Шемякин ведь
и на самом деле рожден актером, по-
становщиком живых картин), то «че-
ловеческая (вернее, античеловеческая)
комедия» Юрия Витальевича Мамлеева
скорее смахивает на балаган и сродни
творчеству его московского спутника
«по инферналу» — художника Владими-
ра Пятницкого, немирно почившего не-
сколько лет тому назад. Как и в рас-
сказах Мамлеева, на картинах Пятни-
цкого болотное царство, прикидываю-
щееся человечьим бытом; пустыри,
пивные, помойки; существа кишат, че-
ловек наравне с тараканом, с безголо-
вой черной курицей, которую вяжет и
режет (как на полотнах В.Калинина) в
пьяном Эдеме недотыкомка-ведьма для
падших ангелов-алкашей!

Фигус зеленым пером осеняет его.
Возле пивной — толковище и зной.
Сколько мужчин, возжелавших
общенья и пива!
Сколько мужчин, избегающих
женщин и секса!
И среди них — добродушный
и сальный!
Сверх-эротический!
Вне-сексуальный!
И воют собаки, обнюхавши желтые
ссаки —
Вы поклонитесь слоновым
копытам его!

«Фигус зеленым пером» действи-
тельно осенял. Двенадцать лет назад
собирались на Южинском переулке у
этого абсолютно подпольного, власти-
теля дум определенной прослойки ин-
теллигенции Москвы. Там, под фику-
сом, вечерами и ночами собирались,
возлежа на рухляди при свечах. За-
нимались делом: на диване обсуждали
бессмертье и странствие душ; трепались
в креслах о «шекоте астрала»; собира-
ли, нарываясь на скандал, на чекушку.
И читал полупшепотком, сладострастно,
мусоля трупыслова, сам хозяин, «доб-
родушный и сальный» — из тетрадки
— ибо такой адской машины как пишу-
щая, боялся. Еще боялся, что донесут...

У него лицо (по словам кого-то из
почитателей) кроткого крота... И не-
ожиданно острый взгляд, как у фаль-
шивого слепца на паперти...

Он читал ученикам. Гостям — девоч-
кам и мальчикам из «читалки Исто-
рички» (Исторической библиотеки).
Растворил сознание словом, как ки-
слотой:

«Савелий бежал один по темному пе-
реулку. Громады домов казались мер-
тво-живыми и угрожающими. Слово
их никогда не было. «Почему, почему
я так люблю собственную ногу? — выл
он про себя. — Вот я бегу... бегу... Но
что потом?! О, моя нога... нога!!!
Лучше остановиться, зайти в угол и по-
целовать ее. То место, которое явилось
мне во сне!... Нежное, судорожное...».

Герои Мамлеева живут в аду. В
пресном аду скуки, где ими отброшен
облик и подобье Божье для этой жизни,
и для будущей. Они не люди, а твари.
Брюхатые олигофрены обоого пола:

«Михайло — толстый здоровый му-
жик, необычайно любящий танцевать,
особенно с малыми детьми»; «Паша,
здоровый 40-летний мужчина с отвис-
лым, как губы, животом»; Николай

Павлович Ублюдков, впечатлительно-
толстый мужчина с бегающе-замучен-
ным взглядом...»

«У девки — ее звали Таня, был очень
странный, разбухший, как две кормя-
щие груди, зад»: «Анна Карловна была
чрезвычайно занята своим животом (...)
Он казался ей живым существом, жир-
ным и теплым, необычайно родным,
как прилепившийся к телу пухлый ре-
бенок...»

В аду гомерической скуки одичавший
уладу находит лишь в себе — в собст-
венной ноге, животе, горле — единст-
венно живым в окружающем нас без-
жизненном мире, прикидывающемся
жизнью: «Знакомый ужас кольнул меня
в сердце: вдруг умру... даже пива не
успею напиться. Прежний страх сдавил
меня». Обжираясь, наспиговывая жи-
вот мясом, салом, повторяют «только
бы выжить!» — герой Мамлеева, в
ужасе от себя подобных, желает иметь
в спутники лишь себя! Обжираясь, раз-
двоиться, расстроиться — родить себя
от пупка, ноги, уха! И, любимого, са-
мого себя в пароксизме, пожрать (ибо
лишь ты один — без отравы, подложен-
ной, быть может, в другую пищу —
врагом)!

Самопожираясь, пародируя, наряжа-
ет Мамлеев Достоевского в шутовской
колпак самокопательства, рождает ге-
роя, патологически боящегося смерти!

Смерть — она начинается сразу же за
одевающим нас нежным слоем эпидер-
мы. Все, что вне нас — смерть. Смерть
живет, звучит на все голоса! Вся жизнь
мамлеевских героев — приучение себя к
невыносимой идее смерти; попытка
подлизаться к смерти, как к большому
всесильному начальству, — подоль-
ститься, напроситься на чай. Смерти
опасливо подмигивают, подхалимствуя
запанибрата...

И это вживание в смерть совершается
с помощью макаберной клоунады. Ни-
что украшено ромашками — так укра-
шает себя проститутка Лидочка (оче-
видная пародия на Сонечку Мармела-
дову).

Перед лицом Ничто, Небытия — о,
как пугающе мал, как исчезающе мал
наш Бог! И нет другого Бога — по-
следнего, нетронутого... Так бормочут
герои «Живой смерти».

Все эти затеи Юрий Витальевич ус-
траивает среди вполне реальных де-
кораций, в знакомых до жути клопи-
ных коммуналках и блочных халупах.
Провалы и бездны его — не грязнее и

не глубже провалов лестничного мрака, пропаренного мочой, в парадном под навеки разбитой лампочкой. Тут, во мраке, чудом движется лифт-подергунчик, в отдаленном районе Чертанова или за ВДНХ.

Описания нарочито повторяются, как заклинание. Обреченному в жертву читателю навязывают отвращение к еде, природе, любви. Они подменены случайкой, помойкою, калом, украдены. В награду же читатель получает не равнодушные даже — омерзение к мирскому — какого не снилось отшельникам-христианам!.. Автор все же зачастую напоминает того inferнального пристава, что, подкравшись к обедающим, рассказывает мерзости, отбивающие аппетит:

«...три вдребезги пьяных существа, хватая руками темноту, выскакивали из баньки. На одном промокло пальто. Другое потеряло шапку. Третье было босиком. Но из всех трех уст раздавался вопль:

Прожить бы жизнь до дна,
А там пускай ведут
За все твои дела
На самый страшный суд.

Одинокие прохожие и тараканы пугались их вида... А вскоре за ними из двери баньки юркнула фигура старика Коноплянникова. Бессмысленно озираясь, он ел голову мертвой кошки...»

Эти апокалиптические ничтожные герои, владыки вселенной заурядности ползут со скоростью вши к абсолютно ничто, над которым висит антипод Бога — таково, в нескольких словах, кредо рассказов Мамлеева.

Чем дальше ушли — тем более сладок «замес; тем высокомерней они. Удивительный, неожиданно зоркий (как у фальшивого слепца!) взгляд Мамлеева с особой достоверностью отыскал в толпе современный вариант извечного российского интеллигента «на дне», «лишнего человека, на самом деле более чем знакомого читателям русской классики. Только паденье оземь между пивной и ржавым гаражом возведено в шутовскую метагалактическую степень...»

Иногда все же хотелось бы понять: неужели вселенная автора состоит только из самоедов, упырей, подонков-ангелов? И где он-то сам поместился среди населения этой антивселенной?.. Всерьез ли у него туалет — антихрам

антихриста — или же просто символ бездуховности обывателя?

«Посижу я, посижу», — уговаривает себя антигерой — в туалете, где он становится Главным! И чем гаже и гнуснее существо — тем глубже и шире любовь к себе пьяного Шивы с драной шинкой, с замусоленной беломориной в кулаке.

Безусловно Мамлеев-художник над Мамлеевым-философом возобладал. Автор немислимых мистерий «Живой смерти» — на деле наследник русской добротной школы критического реализма, а точнее — Николая Успенского с его «Нравами Растеряевой улицы». Однако образы и сравнения его, в их прихотливости и безапелляционности под сказаны адом:

«Человек со спрятанными глазами»; «Виталий имел лицо (если считать «это» лицом) до того полупьяное и трезвое, до того сморщенное и обезья-

новидное, и вместе с тем холодное, что его мало кто замечал».

Свои рассказы Мамлеев ведет как бы с середины бесконечного мифа, который и не заканчивается даже — но как бы покидает читающего —

Будда-Мамлеев с портфелем пришел
ниоткуда

И у помойки для них сотворил
это пошлое чудо —
Кошек и мух, голубей

и московское лето
(Свадьба горланит за окнами где-то)
Падаль, астра и абстракцию склеив,
Просто вас выдумал душка-Мамлеев —
Да поклонюсь многотуманному заду его!
— закончив читать эти рассказы, долго
еще остаешься под наваждением, — безуспешно стараясь его стряхнуть.

Кира Сапгир



С двойственным — радостным и шемющим чувством одновременно держу я эту книгу в руках. Владимир Алейников — «Предвечерье». Известнейший московский самиздатовский автор 1946 года рождения, один из организаторов шумевшего в середине 60-х годов неподцензурного литературного содружества СМОГ (Смелость, Мысль, Образ, Глубина), яркий поэт, написавший многие сотни стихотворений, но десятилетиями не имевший возможности напечатать ни строчки, стихотворец, никогда не шедший ни на какие конъюнктурные идеологические приманки, — и вот, наконец, первая книга. Тоненькая,

Владимир Алейников. Предвечерье. «Молодая гвардия», Москва, 1987.

тираж небольшой — 8 тысяч, но все же! Это ли не радостное событие? Но какая-то грустная символика заключается даже в самом названии: первый сборничек сорокалетнего автора — «ПРЕДВЕЧЕРЬЕ».

Я провожаю корабли.
Меня вот так не провожали.
Их длинный след огни внесли
Строкой начальной на скрижали.

И от раздумий далека,
Подобна затаенной боли,
Пыльцой стирается мелка
Сухая линия прибой.

От невозможности расплакаться
Портовый город очень тих.
Да будут встречи мне расплатой
За то, что выше сил моих,

За то, что мне никто не дарит
Закономерностей земли,
За то, что все-таки недаром
Я провожаю корабли.

Алейников не датирует чаще всего стихи... Вот это, только что мной прочитанное, написано еще в 1965 году — двадцать два года назад... А есть стихи и 64-го года: полтора-два десятилетия многим и многим стихам, составляющим «Предвечерье». Вот сколько — целую, можно сказать, эпоху пролежали они в ящике письменного стола,

да какое там в ящике! — годами Алейников был бездомен, жил не имея ни денег, ни угла, ни письменного стола своего. Десятилетиями были его стихи известны лишь узкому кругу любителей и энтузиастов поэзии Москвы, Ленинграда, Крыма. Помнится, как читал их еще совсем юный Володя на кокетельской веранде, прикрыв веки, расставив крыльями руки. — само чтение было действием.

Вот "Баллада", написанная еще осенью 1964 года, когда мы вместе только что поступили и учились на первом курсе искусствоведческого отделения МГУ, Алейников только на год был старше, но писал уже мастерски и воспринимался мною как значительно более старший, зрелый и восхищавший меня поэт:

Был день, наделенный сознанием лжи.
Пришел почтальон с запоздавшим
письмом.
Я молча покинул нахохленный дом,
Прозрачный конверт на ладонь
положив, —

Твой красный, лукавый, как гном,
ноготок
Забывшие буквы на нем выводил...
Я поднял пылающий алый листок
И резким дыханьем его погасил.

Письма не читая, судьбу не кляня,
Я шел среди всех, но от всех
в стороне:
Любимая ищет во мне — не меня,
Любимая ищет меня — не во мне.

...Алейников родился на Украине, большая часть его стихов связана с ней, а конкретнее — с Крымом. Он — поэт-импрессионист, в его поэтике в целом есть нечто от такой книги Пастернака, как "Сестра моя жизнь": явления природы, ее минутные состояния, пантеистическая слиянность с ней, наконец, само лирическое личностное начало, ощущаемое как компонент не раздельной органической жизни, — так видит мир Владимир Алейников...

Это тяжело, почти что невероятно: не иметь шанса печататься, т.е. объективизировать свою творческую продукцию, для того чтобы поступательно развиваться, — и при этом все же сохранить дар, развить его; трансформировать — в зрелость — свое лирическое начало. Вот фрагмент стихотворения уже

середины 70-х, т.е. на десять лет позднее написанного, чем вышецитированные стихи:

Кукушка о своем, а горлица —
о друге,
А друга рядом нет —
Лишь звуки дикие, гортанные и упруги,
Из горла хрупкого летят за нами
вслед
Над сельским кладбищем, над
смутною рекою
Небес избранники, гонимые грозой
К стрижам, заоблачной томимым
бирюзой,
Где образ твой отныне беспокою.

Кукушка о своем, а горлица —
о милome.
Изгибаю птичьих горл с изгибами реки
Ужель не возвеличивать тоски,
Когда воспоминанье не по силам?
И времени мятежный водоем
Под небом неизбежным затихает.
Кукушке надоело о своем,
А горлица еще не умолкает.

...Другая зримая струя алейниковской поэтики: русский романс, лирика Апухтина, Полонского, Аполлона Григорьева и Сергея Есенина. Алейников — поэт, что называется не "комплексующий", не боящийся порой и банальности и умеющий ее обыграть. Он из тех стихотворцев, перед которыми, кажется, никогда не стоял умозрительный вопрос формы, стиля: традиция, скажем, или авангардизм, эксперимент или работа в каноне.

Форма у Алейникова — органическое производное вдохновения. Отсюда уникальная внешняя непринужденность, ненавязчивость лирического потока, Алейникова невозможно представить подбирающим рифмы, скрупулезно прорабатывающим смысл, образ, фонетику.

Он настолько не сомневается в своей подлинности, что не боится и самого сентиментального построения:

Снизойди до меня, снизойди —
Без тебя мне дышать тяжело.
Что за грусть поселилась в груди?
Сердце хочет к тебе под крыло.

Наша жизнь — это облачный знак,
Недомолвки планет и светил.
Только б ты оглянулась вот так,
Чтобы взор твой согрел и простил.

Лишь в тебе я сумел отыскать
Этот свет, что всегда — впереди.
И твержу заклинаньем опять:
Снизойди до меня, снизойди!

...В этом, конечно, есть и своя опасность. Лирический поток, сколь бы не был силен напор вдохновения, следует держать в узде, контролировать. У Алейникова не редки недоработки и рыхлости... Но все это, повторяю, перекрывается энергией лирического сознания.

Слава Богу, в тяжелейшие десятилетия безвременья Алейников выжил: ведь многих из наших талантливых сверстников — поэта Леонида Губанова, например, — уже нет в живых... Будем верить, что тяжелые годы поэта теперь позади — что "Предвечерье" — еще не... вечер, что Алейникова ждут новые публикации и лирические сборники, что он, наконец, сможет существовать в СССР в качестве, данном ему природой: качестве русского стихотворца...

Юрий Кублановский





михаил геллер и владимир максимов:

беседы о современных русских писателях



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

Михаил Геллер: Фазиль Искандер — писатель, которого, по-моему, очень любят советские читатели, писатель, которого очень приятно читать и которого издают в Москве охотно. Но, может быть, разговор о нем стоило бы начать с явления, которое не было известно советской литературе до 60-х годов. Главная книга Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» опубликована в Москве в 1977-м году и в ней 240 страниц. А два года спустя в США вышел на русском языке «Сандро из Чегема», в котором 640 страниц. Еще через год были опубликованы новые главы к роману, еще 240 страниц. Таким образом, перед нами, с одной стороны, в московском издании — маленький роман, а с другой — огромная эпопея, вышедшая по-русски, но в США. И тем не менее, Фазиль Искандер публикуется в Москве. Феномен!

Владимир Максимов: По-моему, тут ничего уж очень странного нет. И опять-таки я возвращаюсь к постоянному мотиву наших с вами бесед. Я знаю Фазиля Искандера примерно четверть века. Судьба нас свела еще на Кавказе. Я работал в отделе культуры газеты «Советская Черкессия», в Черкесской автономной области, а он — в газете «Советская Абхазия», в Абхазской автономной республике. Эти национальные образования находятся по двум сторонам Кавказского хребта. Черкессия — на Северном Кавказе, а Абхазия — в Закавказье. И они как бы

дружат между собой, эти две республики, потому что часть абхазского народа, под другим названием — абадзинцы, составляет и часть населения Черкессии. Поэтому там довольно часто обмениваются различного рода культурными делегациями. Обычно я с этими делегациями ездил как освещающий эти события в Абхазию, а Фазиль Искандер сопровождал абхазские делегации, которые приезжали в Черкессию.

С тех пор мы были связаны не то что бы дружбой, но очень близким знакомством, и вся его литературная судьба развивалась у меня на глазах. Он начинал как поэт и, на мой взгляд, поэт превосходный. Открыл его, как это ни странно, Твардовский, который поэтическими открытиями, как известно, не славился. В его журнале, как это бывает у всякого большого поэта, который становится редактором, поэзия была неважной, в отличие от прозы и публицистики. Искандера я и воспринимал долгое время именно как поэта, первая его проза, хотя, в общем, и вызывала симпатию — это было очень интересно и своеобразно — но большого художника не обещала. Но, познакомившись со всем романом, точнее, эпопеей, в полном ее, еще рукописном виде, я понял, что просто родился большой писатель, но писатель одной книги. Писатель — летописец целого народа. У него счастлирое сочетание всяких кровей, он немножко абхазец, немножко турок, немножко русский, и воспитан на русской культуре. И он, именно он, не изнутри, а несколько со стороны, мог написать историю маленького и замечательного абхазского народа. Прочитав эту вещь Искандера, я стал его поклонником и почитателем. «Сандро из Чегема», честно говоря, я читал по меньшей мере шесть раз. И последний раз открыл эту книгу не долее как вчера. Но раз от разу, возвращаясь к ней, я внезапно поймал себя на мысли о том, что

автор, при всем искусстве, при всем великолепии письма, не замечает или как бы не хочет замечать главного: трагедии этого народа. Он описывает его с любовью и с восхищением, и в то же время, будучи человеком талантливым, сам того не замечая, вдруг для меня как для читателя открывает совершенно ясную и непреложную истину: я вижу, как этот замечательный народ на глазах у меня, у читателя, вырождается. Вырождаются его традиции, вырождается его мораль, вырождаются его определенные, основополагающие какие-то принципы бытия. Это меня несколько поразило, и от этого я начал уже раскручивать мысль о том, а почему это все-таки напечатано, и почему Фазиль Искандер так популярен в Советском Союзе, и не среди самого худшего читателя? Мне кажется, дело в том, что он как раз не дает своему читателю задумываться над этой трагедией. Он изображает эту жизнь, в конечном счете, красивой. Правда, я все равно не отвернусь от этой книги, она останется одной из моих самых любимых, но тем не менее, к такому выводу я пришел. А читателя нашего, особенно того, который любит Искандера, я примерно знаю — он еще любит душевный комфорт.

М.Г. Это очень интересная, по-моему, точка зрения на Искандера и его эпос об абхазском народе, но мне бы хотелось сказать еще вот о чем. Искандер — писатель, обладающий одним редким в русской литературе качеством — иронией. Он умеет иронизировать так, как сегодня, мне кажется, может быть, никто из писателей, пишущих на русском языке. С этой точки зрения как бы образцом, моделью, для меня является портрет Сталина, нарисованный в «Сандро из Чегема». Глава «Пыры Вальтасара», который, естественно, нет в московском издании, на мой взгляд — одно из замечательнейших произведе-

ний русской сатирической литературы. Я даже выписал фразу, которая мне кажется таким образом убийственной иронии. Описывается пир, организованный тогдашним первым секретарем абхазского комитета партии Лакобой, который Сталиным был потом убит. Пир для Сталина, Ворошилова и других вождей. Для них танцует абхазский ансамбль. И вот дядя Сандро, участник ансамбля, замечательный танцор, танцует и, упав на колени, подплывает прямо к ногам Сталина. Искандер пишет: «Дядя Сандро провел глаза от хорошо начищенных, сверкающих сапог вождя к его лицу, и поразился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз». Я говорю об иронии, так как мне хотелось бы думать, что, может быть, Искандер нашел такой способ показать то, что вы называете вырождением народа, то, что можно назвать «советизацией» абхазского народа, то есть показать это так, как оно есть, и в то же время не говорить об этом открыто. Может быть, для того, чтобы читатель оставался в комфортабельном состоянии.

В.М. Дело, Михаил Яковлевич, не в том, чтобы говорить открыто. Открытые тексты тоже не делают литературы. Дело, мне кажется, в отношении писателя ко всему этому. Он описывает, предположим, пьянство, коррупцию этого народа, которая прогрессирует на наших глазах, с чувством некоторого даже восхищения. Вы знаете, ирония иронией, но ирония, за которой нет боли, разрушительна. Сейчас существует теория, что вообще литература должна быть иронической. Но ирония, ставшая самоцелью, перестает быть литературой. Согласитесь, «Дон-Кихот» написан иронически, но после этой книги хочется плакать.

М.Г. Это правда, но вот вы говорите о призыве к ироничности. Мне казалось, наоборот, что с иронией борются в советской литературе очень жестоко, и мне не приходит в голову имя писателя, которому позволяли бы иронизировать в книгах, опубликованных в Москве. За исключением, может быть, Искандера. Но я не буду спорить с вами, что, возможно, за иронией Искандера нет боли. Мне кажется, что есть у него, во всяком случае, я так считаю, то, чего нет у других писателей русских. То есть Искандер пишет в определенном смысле отстраненно. Его

положение на Кавказе, его место в Абхазии позволяет ему видеть весь остальной Советский Союз, и в особенности Москву, куда он, как мы знаем из его же рассказов, приезжает, как нечто другое и как нечто чужое. И это, возможно, дает ему право, с его точки зрения, писать о пороках его народа, объясняя эти пороки влиянием Москвы, злым влиянием советской власти.

В.М. Может быть, конечно, и так. Но дело-то в том, что из самого текста, из всего происходящего вытекает, что народ этот, как ни странно, очень легко адаптируется в этой системе, очень легко смиряется с этой властью. И кстати сказать, о теории иронии в современной литературе. Она родилась как раз не там, не в Советском Союзе, а здесь уже, на Западе. И я бы хотел вернуться опять к вопросу, к проблеме, верней, иронии в литературе и, в частности, в этом романе. Так как, по прочтении всего романа, я не чувствую авторской боли за все происходящее, то для себя и объясняю, что именно поэтому роман, пусть не так уж безболезненно, но все-таки был адаптирован этой системой. Иными словами, нашел свое место в мозаике советской литературы. И согласитесь, Михаил Яковлевич, если вы читали все его последующие городские рассказы, что это, олимпийское, что ли, отношение к тому, что он описывает в «Сандро из Чегема», отомстило Искандеру. Эти рассказы, написанные всерьез, я бы сравнил с очень-очень средним Юрием Трифоновым. Отсутствие внутреннего сопереживания с тем огромным и трагическим процессом, который происходил все эти годы в стране и в той же Абхазии, отомстило автору. Значит, внутри вообще не существует боли. А ее присутствие — самое важное, мне кажется, для писателя во все времена, не только, как говорится, в эпоху советской власти.

В.М. Я согласен с вами в оценке последних его рассказов, но, может быть, с ним произошло то же самое, что со многими писателями-деревенщиками, то что мы с вами отмечали, беседуя об их творчестве. То есть после очень хорошей книги, в которой писатель, однако, что-то недосказывал, или, выражаясь словами Трифонова, недочерпал, потом появляются книги, на которых эта недосказанность сказывается, в результате чего последующие книги становятся хуже. И я хотел бы еще доба-

вить. Вы говорите, что Искандер нашел место в советской литературе. Это бесспорно. Может быть, с одной оговоркой. Я посмотрел книгу, которая называется «История русской советской литературы». Это учебник для студентов филологических специальностей университетов. Написал эту книгу ленинградский ученый, профессор, доктор Ершов. Я просмотрел ее, чтобы увидеть, а что же он пишет о писателях, о которых мы с вами говорим, и убедился, что их в его книге нет. Ни Домбровского, ни Искандера, ни Трифонова, ни Можая... Мы с вами как бы говорим о писателях, которые, можно сказать, «одной ногой» существуют, ибо их издают, а «другой ногой» не существуют, ибо будущие учителя литературы в советских школах о них не будут говорить, они не предусмотрены программой.

М.Г. Здесь, может быть, дело времени. Ко всему, как говорится, система привыкает постепенно. Сегодня их нет в программе, а завтра они будут. Еще вчера не было многих имен в этих школьных программах, которые ныне там есть. А в том, что писатель часто, написав первую великолепную книгу, затем начинает писать слабее, я с вами согласен. Это случается, к сожалению, со многими, может быть, даже с большинством. Трудно писателю согласиться стать автором одной книги. А ведь это в истории литературы — банальное явление. Сколько в мире писателей-классиков, которые, в сущности, являются авторами одной книги, несмотря на то, что после нее писали еще очень многое! Хотя бы тот же Сервантес. Мне кажется, что Искандер — автор именно одной большой, во всех смыслах большой, несмотря на все мои замечания, книги. Может быть, ему и не надо уходить в другую тему, а надо продолжать ту же самую. Одна подлинно большая, повторяю, во всех смыслах большая книга, достаточна для жизни писателя. Этого я и пожелал бы Фазилю Искандеру.

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН



РАССКАЗ

ИКС

В спектре этого рассказа — основные линии: золотая, красная и лиловая, так как город полон куполов, революции и сирени. Революция и сирень в полном цвету, откуда с известной степенью достоверности можно сделать вывод, что год — 1919-й, а месяц — май.

Это майское утро начинается с того, что на углу Блинной и Розы Люксембург появляется процессия — по-видимому, религиозная: восемь духовных особ, хорошо известных всему городу. Но духовные особы размахивают не кадилами, а метлами, что переносит все действие из плана религии в план революции: это — просто нетрудовой элемент, отбывающий трудовую повинность на пользу народа.

В тот день (1919, 20. 5) все граждане в возрасте от 18 до 50 лет, за исключением самых нераскаянных буржуев, состояли на службе, и всех от 18 до 50 явно ждало сегодня что-то необычайное во всевозможных УЕПО, УЭКО, УОНО. Главное, что это было «что-то», что это было икс, а природа человеческая такова, что ее влекут именно иксы (этим прекрасно пользуются в алгебре и в рассказах). В данном случае икс произошел от раскаявшегося дьякона Индикоплева.

Дьякон Индикоплев, публично признавшийся, что он в течение десяти лет обманывал народ, естественно пользовался

теперь доверием и народа и власти. Иногда случалось даже, что он ловил рыбу с товарищем Стерлиговым из УИК'а — так было, например, вчера вечером. Оба глядели на поплавки, на золото-красно-лиловую воду и беседовали о головлях, о вождях революции, о свекольной патоке, о сбежавшем эсере Перепеченко, об акулах империализма.

Здесь — совершенно некстати — дьякон заметил конфузливо прикрывшись ладонью:

— А у вас, товарищ Стерлигов, — извиняюсь — штаники сзади... не то, чтобы это самое, а вроде как бы...

Товарищ Стерлигов только почесал шубу на лице:

— Ладно — до завтра доживут! А завтра, должно быть, служащим прозодежду выдавать будут — из центра бумага пришла. Только насчет прозодежды — это я вам по секрету.

Когда с тремя ершами дьякон возвращался домой, он по дороге, конечно, стукнул в окно телеграфисту Алешке и сказал ему — конечно, по секрету. А телеграфист Алешка, как вам известно, поэт, написал уже 8 фунтов стихов — вон там, в сундуке, лежат. Как поэт он не считал себя вправе хранить тайну в душе: признание поэта — открывать душу настезь для всех. И к утру все от 18 до 50 знали о прозодежде.

Но никто не знал, что такое прозодежда. Всем было ясно одно: прозодежда есть нечто, ведущее свою родословную от фигового листа, т.е. нечто, прикрывающее наготу адемов и украшающее наготу ев. А общая площадь наготы тогда была значительно больше площади фиговых листьев — настолько, что, например, телеграфист Алешка давно уже ходил на службу в кальсонах, посредством олифы, сажи и сурика превращенных в серые, с красной полоской непромокаемые брюки.

Естественно поэтому, что для Алешки прозодежда воплощалась в брачный образ, но она же для красавицы Марфы расцветала в майскую розовую шляпу, для бывшего дьякона уплотнялась в сапоги — и так далее.

Если вы рискнете сейчас вместе со мной нырнуть в пыльные облака на улице Розы Люксембург, то сквозь чох и кашель вы явственно услышите то же самое, что слышу я: «Дьякон... С дьяконом... Где дьякон?.. Не видали дьякона»?.. Только один дьякон, как опытный рыболов, мог вытащить этот зацепивший всех крючок — икс, с наживкой из прозодежды. Но дьякона здесь не было.

В самом конце Блинной, возле выкрашенного нежнейшей сиренево-розовой краской дома, стоит раскаявшийся дьякон. Вот он постучал в калитку.

Дьякон стучит еще раз, еще: никого. А между тем Марфа дома: калитка заперта изнутри. Значит — что же? — значит, она там... Дьякон ставит внутри себя именно это, только что здесь изображенное графически, многоточие и, ежеминутно спотыкаясь на него, идет к Розе Люксембург.

Через несколько минут на том же самом месте возле нежнейшего розового дома нам виден телеграфист и поэт Алешка. Он тоже стучит в калитку.

Вдруг весь Алешка становится почти ненужным гарниром к собственному правому уху: живет только ухо — глотает шепот, шорох, шаги во дворе. Поэту нужно все знать и все видеть: он метнулся к забору, ухватился через край, подпрыгнул, разорвал рукав — и там, во дворе, под сараем, на один миг увидел нечто.

Пожалуй, не стоит рвать рукава и лезть на забор за поэтом: все равно — раньше или позже мы узнаем, что там уви-

дел Алешка. А пока об этом можно судить по его лицу: с разинутым ртом и круглыми глазами Алешка походил сейчас на тех, беспощадно нанизанных на веревочке ершей, которые вчера вечером болтались в дьяковой руке перед окном у Алешки. В ершовом виде Алешка простоял ровно столько, сколько ему потребовалось, чтобы к увиденному подобрать фирму (фирмой увиденному оказалось слово «осечка»). Затем он сорвался с веревочки, на которую нанизала его судьба, и помчался к Розе Люксембург.

Там сейчас готовилась катастрофа: столкновение в некоей человеческой точке двух враждующих линий спектра — красной и золотой, революционной и купольной.

Этой человеческой точкой был дьякон. Одет он был в бордовые штаны и толстовку, сшитые из праздничной рясы, — и виден был издали, как зарево или знамя. Чуть только он забагровел в облаках пыли — к нему, как к магниту, повернулась вся Роза Люксембург — к нему прилипали десятки вопросов, рук, глаз. Дьякон был на невидимом пьедестале и с пьедестала раздавал каждому: «Да, прозодежда... Да-да, бумага из центра».

Но один из народа (бас) брякнул:

— Какая там бумага! Ври больше!

— То есть, как это — «ври больше»?

— А так, очень просто.

— Не веришь? Ну, гляди — ну, вот те крест святой — ну? — и чтобы удержаться на пьедестале, раскаявшийся дьякон, забыв о раскаянии, действительно перекрестился. Затем вдруг побагровел — рефлекс другой линии спектра — и с пьедестала грохнул вниз.

Катастрофа эта была вызвана тем, что из соседнего облака пыли прямо в упор на дьякона глядела козья ножка, вправленная в меховое лицо: Стерлигов из УИК'а. И, конечно, он видел, как дьякон перекрестился.

Дьякон мучительно почуял свой голый нос, прикрыл его рукой, другую прижал к сердцу.

— Товарищ Стерлигов... товарищ Стерлигов, простите ради Христ... — и, побагровев еще пуще, замер.

Стерлигов вынул изо рта цигарку, хотел что-то сказать, но ничего не сказал, — и это было еще страшнее: только молча поглядел на дьякона и пошел. Дьякон, как лунатик, все еще прижав руку к сердцу, за ним.

Еще пять-десять строк — и, глядишь, дьякон придумал бы, что сказать, и был бы спасен, но как раз тут из-за угла вывернулся Алешка. Он подскочил к Стерлигову и вместо того слова, какое было нужно, выпалил рифму:

— Осечка! То есть... я хочу...

И замолчал, оглядываясь, переминаясь с ноги на ногу — непромокаемые брюки его чуть погромыхивали, как бычьи пузыри, на каких ребята учатся плавать. Стерлигов сердито выплюнул цигарку.

— Ну? По какому делу?

— По... по секретному, — шепнул Алешка.

В пыльных волнах кругом плавали десятки ушей — шепот услышали, он побежал дальше, как огонек по пороховой нитке. Секретное Алешкино дело, неведомая прозодежда, катастрофа с дьяконом — это было уже слишком много, в воздухе носились тысячи вольт, нужен был разряд.

И разряд совершился: хлынул дождь: все от 18 до 50 спасались в подъезды, в подворотни и оттуда глядели на шуршащий, сплошной стеклярусный занавес. Ничего-о, пусть льет: дождь этот одинаково нужен как для хлебов респуб-

лики, так и для последующих событий рассказа: в сумерках по следам, на влажной земле преследователям будет легче искать некоего убегающего от них икса.

* * *

Все, кто видел дьякона вот сейчас, на Розе Люксембург или раньше — знают, что это мужчина здоровенный.

Раскаившись и обрившись, дьякон Индикоплев напечатал буллу к прежней своей пастве в «Известиях» УИК'а. Набранная жирным цицери булла была расклеена на заборах — и из нее все узнали, что дьякон раскаялся после того, как прослушал лекцию заезжего москвича о марксизме. Но мне доподлинно известно: то, что произвело в дьяконе переворот и заставило его раскаяться, — был не марксизм, а марфизм.

Родоначальница этого внеклассового учения, до сих пор только чуть-чуть показанная между строк, однажды ранним утром спустилась к реке — искупаться. Разделась, повесила на лозинку платье, с камушка опустила в воду пальцы правой ноги — какова сегодня вода? — плеснула раз, другой. На сажень влево сидел под кустом (тогда еще не раскаявшийся) голый дьякон Индикоплев и подтягивал вентерь, поставленный в ночь на раков. Привычным рыболовным ухом дьякон услышал плеск: «Эх, должно быть, крупная играет»! — взглянул — и погиб.

Марфа повела плечами (вода холодновата) и стала венком закладывать косу кругом головы — волосы спелые, богатые, русые. Ах, если бы дьякон умел рисовать, как Кустодиев! — ее, на темной зелени листьев, поднимающую к голове руки, в зубах — шпилька, зубы — сахарные, голубовато-белые.

Тотчас же встать и уйти дьякон не мог — по случаю своей наготы, одеваться — белье было одна срамота. Поневоле пришлось вытерпеть все до конца, пока Марфа наплавалась, вышла из воды, оделась не спеша. Дьякон вытерпел, но с того именно дня стал убежденным марфистом.

Несомненно, что основной заповедью Марфа считала: «возлюби ближнего своего». Для ближнего — она всегда готова была, по евангелию, снять с себя последнюю рубашку. «Ах ты, бедняжка мой, ну что ж мне с тобой делать? Ну, поди, поди, миленький, ко мне, — ну, поди!» — это она говорила эсеру Перепечко («беденький, в тюрьме сидел»), говорила Хаскину из ячейки («беденький, — шейка прямо как у цыпленка»), говорила телеграфисту Алешке («беденький, все сидит, пишет»), говорила...

Тут-то в дьяконе и обнаружилось это проклятое наследие капитализма — собственнический инстинкт. И дьякон сказал:

— А я желаю, чтоб ты была моя — и больше никому! — Понимаешь?

— Ах ты, беденький мой! Да понимаю же, понимаю-аю! А только что ж мне с ними делать, когда они просят? Ведь не каменная я, жалко!

Это было в тихий революционный вечер, на лавочке у Марфы в саду. Так бы и шло, если бы судьба не пустила в ход красного цвета, каким окрашиваются все перевороты в истории.

Как-то раз вместо хлеба гражданам выдали по бидону разведенного на олифе сурика. Весь день дьякон громыхал босыми ногами по железу — красил в медный цвет крышу. А когда стемнело, дьяконица (соседки ей давно уже шептали про дьякона) задами пробралась к Марфе в сад. В руке у нее был узелок, а в узелке — нечто круглое: может быть — бомба, может быть — отрубленная голова, а может быть,

— горшок с чем-нибудь. Через десять минут дьяконица вылезла из сада, обтерла о лопух руки (не в крови ли они?) — и вернулась домой. Затем — как всегда: звезды, пулемет, в сарае вздыхала корова, на лавочке в саду — дьякон. Он вздохнул раз-другой — и выругался:

— Фу, ч-черт! И тут краской воняет, — никуда от нее не уйдешь, нынче за весь день насквозь пропитался!

Но, к счастью, у Марфы на груди была приколотая веточка сирени. Дорогие товарищи, знакома ли вам эта надстройка на нежнейшем базисе — согласно учению марфизма? Если знакома, вы поймете, что дьякон скоро забыл о краске и обо всем на свете.

Неудивительно, что утром дьякон еле продрал глаза к обеду. Скорее одеваться — схватил штаны... Владычица! — не штаны, а прямо зная: все вымазаны красным. И у серого подрясника — все сиденье красное, и все полы красные... Лавочка-то вчера в саду была выкрашена — то-то оно и пахло.

Дьякон кинулся к шкафу — надеть другие брюки, которые не представляли бы собой наглядной диаграммы его греха, но шкаф был пуст: дьяконица все припрятала.

— Нет, Гриша ты этакой Распутин, так и иди! — закричала дьяконица, — иди, иди, чтоб все добрые люди видели! Нет, не дам, иди!

Так и пошел — как некогда пророк Елисей — со стадом гогочущих мальчишек сзади.

Никому и никогда не удавалось изобразить по-настоящему самум, замлетрясение, роды, катценяммер. Нельзя изобразить то, что происходило в дьяконе, когда он служил эту обедню. Важно одно: к концу обедни дьякон оценил завоевания Октябрьской революции и, в частности, то, что революцией разрушена тюрьма буржуазного брака.

На другой день дьякон отнес к портному праздничную рясу. А через два дня в бордовой толстовке, бритый, стыдливо прикрывая рукой бесстыдно выскочивший нос, заявился к Марфе — сказать ей, что из-за нее он решил погубить душу, отречься от всего, с дьяконицей развестись и жениться на ней, Марфе.

— Ах ты, бедненький! Ну поди, поди ко мне... да что это у тебя глаза такие чудные?

— Что — глаза! Тут мозги наперекося пойдут — от всего от этого...

Мозги у дьякона шли наперекося как в бурсе, он опять сидел и зубрил тексты — теперь из Маркса — и каждый вечер ходил на занятия здесь, в кружок. Но под марксизмом дьякона скрывался чистейший марфизм: после моих беспристрастных свидетельских показаний это должно быть ясно для суда истории. А затем, граждане судьи истории, разве не на ваших глазах этот якобы раскаявшийся служитель культа только что перекрестился публично? Это видела вся Роза Люксембург и в том числе уважаемый тов. Стерлигов из УИК'а, — неужели этого мало?

* * *

Вся Роза Люксембург была сейчас театральным залом: стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи — подворотни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена — две конструктивных по Мейерхольду площадки: два подъезда с навесами у входа в галантерейный магазин Перелыгина (входы, конечно, забиты досками: год — 1919). Действие разворачивается одновременно на обеих площадках;

справа — Стерлигов и телеграфист Алешка, слева — марфист дьякон и Марфа. Алешка бледен, как Пьеро, и только оттопыренные уши нагримированы красным. Алешка с трудом (публике это видно) произносит, наконец, какое-то слово — у Стерлигова цыгарка падает наземь, он хватается за кобуру револьвера. Затем поднимает обе руки к Алешкиной голове — как будто, чтобы взять ее за ручки, как самовар, и снять с плеч. Стерлигов говорит что-то вроде: «Ну, если врешь — голову с плеч долой!» И оба действующих лица сходят со сцены, — вернее, сбегают — Стерлигов за рукав волокет Алешку куда-то за кулисы.

На левой площадке — явно любовный диалог. Дьякон начинает его скупно, без жестов — и только видно, как в кармане его толстовки мечется и прыгает что-то, будто там зашита кошка: это — стиснутый дьяконов кулак. Можно поручиться, что он спрашивает Марфу: «Ты мне почему сегодня утром не открыла? Кто у тебя был? Нет, говори — кто? Слышишь?» — Марфа поднимает брови, вытягивает губы — так же, как когда говорят ребенку «агу-агу-нюшки». Это на дьякона уже не действует — мозги у него явно пошли наперекося, кошка сейчас выпрыгнет из кармана. Но публика в ложах его стесняет, видно, как он говорит только (текст приблизительный): «Ну, ладно — погоди!» — и уходит с твердым решением (кошка в кармане камнеет): вечером спрятаться в саду у Марфы и подстеречь соперника.

Представление кончено. Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой. Публика все еще не расходится, — дождь припустил сильнее и промокнуть до костей решаются только те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную нить, как, например, Стерлигов и Алешка-телеграфист.

Мокрые, они уже входили сейчас в учреждение, которое в тот же год носило имя гораздо более чеканное и металлическое, чем теперь. Рябой солдат равнодушно насадил Алешкин пропуск на свой штык, где уже трепетал десяток других алешек, превращенных в бумажные лоскуты. Потом — бесконечный коридор, какие-то летучие, почти прозрачные лица, сделанные из человеческого желатина. И перед дверью кабинета за столиком барышня, из этой особой породы — секретарш (в собачьей вселенной секретаршами служат, несомненно, болонки).

У Стерлигова сквозь мех на лице — или от волнения — голос глухой.

— Папалаги у себя?

Болонка юркнула в кабинет, выскочила обратно, помахала Стерлигову хвостиком.

— Пожалуйте.

И через секунду телеграфист Алешка уже стоял перед самым товарищем Папалаги. На столе возле него — тарелка с самой обыкновенной пшенной кашей, и удивительно, что он ест самым обыкновенным способом, как все. Но усы у Папалаги — громадные, черные, острые, греческие — или еще какие усы...

— Ну, гражданин... как вас? ага! — рассказывайте. Ну?

Колени у Алешки так тряслись, что он сам слышал, как шуршат, вроде пузырей, непромокаемые брюки. Заикаясь, с точками и точками с запятой, после каждого слова, Алешка доложил, что нынче утром во дворе у гражданки Марфы Ижболдиной он видел эсера Перепечко, который эсер, явно, ночевал на сенике в сарае.

— Тем лучше: сам к нам на рога лезет (действительно: острые усы были как рога). Тем лучше, тем лучше... — Папа-

лаги нажал звонок, в дверях — желатинное лицо. — Вот что: сегодня вечером на Блинной улице поставьте... Впрочем — потом. Пока идите. Вы тоже можете идти (это — уже Алешке, и Алешка непросто шуршит из кабинета).

Тишина. Пшеничная каша. Рога нацелены на Стерлигова.

— Черт возьми! — понимаете: сотрудники заявляют, чтоб им выдать прозодежду. И нужно же им было там, в Москве... Слушайте, Стерлигов: у вас там в магазинах ничего не осталось, чтоб реквизируют и раздать им?

Стерлигов роется в своих мехах, уставившись в пшеничную кашу:

— Гм... Разве только у Перелыгина еще кой-что...

— Ну, у Перелыгина, так у Перелыгина. Только скорей распорядитесь, чтоб привезли сюда. Момент такой, что понимаете... Этот сукин сын Перепечко...

Каша. Тишина. Шелк дождя за открытым окном. Запах сирени, проникающий даже сюда без всяких пропусков. В ложах подворотней на Розе Люксембург публика все еще ждет хоть коротенького сухого антракта.

Но, вместо антракта, — представление неожиданно возобновляется: на одну из сценических площадок входят трое милиционеров (статисты без слов) и человек в белой мохнатой куртке, сшитой из купальной простыни. В ложах его тотчас узнали и шепотом заволновались:

— Сюсин! Сюсин из Упродкома! Сюсин!..

Слабое мание руки великого Сюсина, треск отдираемых от дверей досок, — милиционеры уже волокут из магазина какие-то картонки и валят их на бывшую городского голову линейку.

Дождь сразу перестал, как перестает реветь капризный мальчишка, заметив, что на него уже смотрят. Под солнцем блестела на линейке черная, еще мокрая клеенка. С крыш что-то кричали народу воробьи. Народ от 18 до 50 кричал на сцену:

— Эй, товарищи! Чего это у вас там?

Милиционеры, которым от автора не дано было слов, молчали. Сюсин выдержал паузу и вполборота бросил небрежно — как теперь, в 1925-м, — закутив, бросают спичку.

— Прозодежда.

И от Сюсиной спички тотчас же загорелась вся Роза Люксембург от 18 до 50.

— Прозодежда? Куда? Кому? А-а, так, а нам — шиш? Граждане, трудящиеся, держи их! Граждане!

Сюсин вскочил в линейку, за ним милиционеры. Один из них стал нахлестывать лошадь.

Через полчаса в кабинете у Папалаги телефон зазвонил, что по случаю прозодежды — волнение. Всем от 18 до 50 по добавочному купону Б выдали спички — один коробок на троих. Народ от 18 до 50 зажужжал еще пуще — как пчелы, а в воздухе ощущались рои событий.

* * *

Раскаившийся дьякон Индикоплев снимал теперь комнату. Дом, дьяконицу, детей, диван — все прочные «д» дьякон оставил позади и жил теперь среди революционных «р»: фотографии Маркса и Марфы, кровать без простыней, огрызки, брошюры, окурки. Когда в сумерках дьякон вернулся сюда и голый нос спрятал в грязную подушку, все эти «р» закружились, кровать колыхнулась и отчалила вместе с дьяконом от реальных берегов.

Тотчас же руки, ноги, пальцы — где-то за сто верст и в то же время — вот тут рядом как на карте — кружки горо-

дов. Дьякон проскочил сквозь себя по некой спирали и стал в уголке, откуда все было видно. И совершенно ясно было, что там, где голый, выбритый дьяконов нос, — там Москва, уткнувшаяся в кислые перья подушки. Чтобы не задохнуться — надо поднять руку, выпростать Москву из перьев, но дом, дьяконица, дети, диван придавили, — конец! Перекреститься бы — но нельзя: из уголка своего дьякон видит, что на нем не ряса, а бордовая толстовка, и на стене — меховой, похожий на Сетрлигова, Маркс...

От Стерлигова — как вязальной иглой кольнуло куда-то в живот, лежачий стоверстный дьякон и крошечный в уголке — соединились в одного, этот один вскочил, открыл окно. На кладбище звонили ко всеобщей, за углом солдаты пели интернационал — и невозможно, чтоб это было вместе, надо было скорее распутать, скорее разыскать Стерлигова, объяснить ему, что ей Богу же — никакого Бога нет, а есть... а есть... Что, ну — что есть, что?

Дьякон отчаянно махнул рукой и побежал в УИК. Там сказали, что Стерлигов, наверное, в клубе, наверху. Дьякон полз наверх, открыл обитую драной клеенкой дверь, вошел.

В остром зале мигала в дыму керосиновая лампочка. Старушка за роялем играла миньон, в мешечных руках милиционеры пятились миньоном назад, натываясь с хохотом друг на друга. Шли занятия балетно-драматической студии для милиционеров, густо пахло 1919 годом.

Дьякон крикнул:

— Товарищ Стерлигов здесь?

Миньон затвердел, старушка вынула платок и не то сморкалась, не то плакала.

— Мне товарищу Стерлигову объяснить, что Бога... Мне — по срочному делу: нельзя ли сейчас — узнайте.

— Ладно... — и, пятясь миньоном, милиционер пропал в темном углу.

Короткая, в 3/8 пауза, заполненная смесью колокола с интернационалом (окно открыто). Когда 3/8 прошло, дьякон издал — за сто верст — услышал сквозь дым:

— Нельзя. Велел вас задержать. Сядьте пока тут.

Дьякон послушно сел. Старушка всхлипнула последний раз и заиграла, милиционеры, пятясь, поплыли в дыму. И только тогда, через версты, дошло до дьякона это слово — «задержать». — Пропал: сейчас придут с ружьями и уведут... По пути к пяткам душа остановилась в ногах, ноги стали самостоятельными, логически мыслящим существом, в секунду все решили, потихоньку подняли дьякона — и под музыку, пятясь, как все, он пошел к двери. Тут набрал сколько мог санитарного воздуха — сломя голову вниз по ступеням, на улицу — и побежал.

Как в поезде столбы телеграфа, черные квадраты окон, крошечные, булавочные огоньки, самовар на столе. И вдруг где-то — косой, яркий свет, вырезанные из темноты головы, плечи, носы, толпа. Дальше было некуда, назад — нельзя. Дьякон втиснул себя в кирпичную веревку у каких-то ворот, зажмурил глаза, ждал: сейчас придут.

И действительно: кто-то подошел к крикнул над самым ухом у дьякона.

— Выдали!

— Кто выдал — все равно: надо бежать. Дьякон рванулся, открыл глаза.

Перед ним был Алешка-телеграфист. Вытянув руки, в пригоршнях крепко — как птичку, которая сейчас улетит — он держал кусок черного хлеба.

— Выдали, — крикнул он, — вместо прозодежды! Я — последний!

Длинно, как корова в сарае, дьякон выдохнул из себя все. И тотчас же понял, что хочется есть, с утра ничего не ел, дома в шкафу стоит каша, надо пойти домой. Но Алешка схватил за рукав:

— Гляди, — гляди — гляди! Да гляди же!

В косом свете из окна на ступенях стоял Сюзин в своей белой, мохнатой куртке и рядом с ним рябой Пузырев — тот самый, какой два года назад пропадал в немецком плену. Пузырев двумя пальцами, как в огурец вилкой, тыкал в Сюзина:

— Так ты говоришь — хлеба больше нету? А если так, то спрашивается: за что же я, например, пропал без вести? Граждане, бей его!

В белой косой полосе все накренилось, Сюзин упал, на него надели густым, шевелящимся роем, на секунду очень ясно — рука Сюзина с зажатым в ней ключом.

Здесь несколько зачеркнутых строк — или, может быть, дьякон, действительно, не помнил, как он очутился в своей комнате, инструментальной на «р», как ел холодную кашу. Поев, хотел прикрыть кастрюлю брошюрой Троцкого, но раздумал: знал, что сюда больше никогда не вернется, потому что финал рассказа должен быть трагический. И захватив для этого финала железный косарь, каким щипал для самовара лучину, дьякон вышел навстречу неизбежному.

Дьякон помнил теперь только одно: скорее — туда, чтобы подстеречь его.

Там, на Блинной, одно окошко было освещено, и на белой занавеске шевелилась тень — сейчас подняла к голове руки: должно быть, разделась и венком закладывает косу на голову — как тогда. Дьякона обожгло. На цыпочках стал подбираться к самому окну, чтоб поднять занавеску, но позади кто-то чихнул. Дьякон дрогнул, обернулся — и возле Марфиной калитки увидел его. Лица не разобрать — было видно только: поднят воротник и надвинута на глаза франтовская — белой тарелкой — шляпа-канотье.

В кармане — далеко, за сто верст — дьякон трясущимися пальцами нащупал косарь! Потом: нет, пусть залезет в сад, пусть! И прошел мимо освещенного окошка, мимо разоренного перелыгинского дома. Тут поглядел назад: шляпа-канотье заворачивал за угол, где в переулочке была садовая калитка. Окошко у Марфы потухло: значит...

Дьякон немного помедлил, — как, крутятся, всегда медлят взорваться бомбы у Льва Толстого. Вытащил косарь, обер его зачем-то полкой — и, перескочив через забор, сквозь мокрую, хлещущую сирень бомбой пролетел к скамейке, чтобы одним махом прикончить его и этот рассказ.

Мы уже давно обросли мозолями и не слышим, как убивают. Никто не слышал, как вскрикнул дьякон, замахнувшись косарем: все от 18 до 50 были заняты мирным революционным делом — готовили к ужину котлеты из селедок, рагу из селедок, сладкое из селедок. Где-то, с зажатым в руке ключом, лежал белый Сюзин. Из окна пахло сиренью. Товарищ Папалаги допрашивал пятерых арестованных возле хлебной лавки и справлялся по телефону, чем кончилось дело на Блинной.

Но на Блинной не кончилось, бомба продолжала крутиться еще бешенней: на скамье дьякон никого не нашел — и ободраный, мокрый, полыхающий выскочил назад, на Блинную. На углу остановился, крутятся, и увидел: в лиловых

майских чернилах белела, быстро плыла шляпа-канотье прямо на него.

Мгновенно погасла (в дьяконе) комната, посвященная марфизму, вспыхнула другая, где был Маркс, Стерлигов и прочие грозные меховые вещи. И меховой Стерлигов-Маркс послал канотье, чтобы задержать дьякона, — это осветилось в темноте совершенно ясно.

Дьякон несся по Блинной — огромный, и видел свои размахивающие руки. Но это был не он: сам он — крошечный, с булавочную головку, стоял посреди дороги и смотрел, как бежит этот, другой. И вдруг кольнуло в живот от страха: заметил, что тот — огромный — дьякон бежит, пятясь миньоном, как тогда милиционеры — ну да: вот теперь как раз мимо закопченных стен перелыгинского дома. Надо было остановиться, понять, что же это такое — дьякон нырнул в голую, без дверей, дыру в стене и, громко дыша, присел.

Густо пахло — как во всех пустых домах в тот год. Сверху в черный четырехугольник звезды равнодушно глядели вниз, на Россию, как иностранцы. Разом было слышно: частое дыхание, третий звон на кладбище, выстрелы. И, конечно, невозможно, чтобы один человек сразу же слышал все это и видел звезды, нюхал вонь. Стало быть, дьякон не один, а...

Плоские, плюхающие шаги за стеной. Медленно, сустав за суставом раздвигая себя, как складной аршин, дьякон поднялся, выглянул через дырку в стене — и ахнул: этот, в канотье, раздвоился, двойной, в двух одинаковых канотье, присел на корточки и, зажигая спички, разглядывал следы на влажной земле. Больше терпеть было невозможно: дьякон закричал и, прыгая через какие-то балки, печи, кирпичи, кинулся сквозь перелыгинский дом.

Пустыми переулками, набитыми черной ватой, дьякон добежал до кладбища, — оно начиналось сразу же за Блинной. Там он забился у ограды, где кладбище спускалось в лог и где оптом закапывали умирающих в тот год.

Из лога над оградой кладбища показался он, в белом канотье. И он размножился с ужасающей быстротой: он был теперь уже не раздвоенный, а распятеренный в пяти канотье. Дьякон понял, что это — конец, деваться некуда, и заорал: «Сдаюсь! Сдаюсь!»

* * *

Когда привели пойманного, Папалаги повернул зеленый абажур так, чтобы осветить его, и спросил:

— Фамилия?

— Индикоплев, — ответил дьякон.

— Ах, Ин-ди-ко-плев! Вот как! Происхождение, родители?

Где-то далеко, за сто верст — дьякон знал: нельзя, чтоб родитель был протопоп. Дьякон прикрыл ладонью голый нос и сквозь ладонь неуверенно сказал:

— Родителей не... не было.

Папалаги — как черные рога — наставил на него страшные черные усы:

— Довольно дурака валять! Сознавайтесь!

Дьякона прокололо. Значит, уже все известно — тогда все равно.

— Я сознаюсь, — сказал он. — Я перекрестился. Хотя я и отрекся, но перекрестился, я сознаюсь.

Папалаги обернулся к кому-то в угол:

— Что он — сумасшедшего разыграть хочет? Ладно, пусть попробует! — нажал кнопку.

И тогда вошел он — неясное желатинное лицо, поднятый воротник, канотье. Дьякон побелел и забормотал, пятась:

— Он самый... пять шляп — эти самые... Пожалуйста, не надо.

Папалаги поглядел на шляпу, сердито зашевелил усами. Потом показал на пойманного эсера.

— Увести его в десятый — и сам ко мне сейчас же!

Когда в кабинете выстроились все пятеро во франтовских канотье, Папалаги закричал:

— Что это еще за маскарад такой, что за чепуха? Кто это выдумал?

Один, который стоял ближе, вынул руки из карманов, снял канотье, повертел в руках.

— Это, видите ли, товарищ Папалаги... это согласно приказу, прозодежда, которую нам, значит, выдали для ношения.

— Сейчас чтобы снять! Ну, слышали?

И пять прозодежд стопкой покорно легли на письменный стол.

Так кончился миф с прозодеждой. Очевидно, кончился и рассказ, потому что уже не осталось больше никаких иксов и, кроме того, порок уже наказан. Нравоучение же (всякий рассказ должен быть нравоучителен) совершенно ясно: не следует доверять служителям культа, даже когда они якобы раскаиваются.

НОВАЯ
КНИГА

«ГИБЕЛЬ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ»

Материалы следствия по делу об убийстве Царской семьи
(Август 1918 – февраль 1920)

Впервые публикуются отдельной книгой материалы следствия по делу об убийстве Царской семьи. Издательству «Посев» удалось получить одну из трех известных копий следственных протоколов.

Цель нашей публикации не в том, чтобы издать еще одну книгу об убийстве Царской семьи, изложив в ней новые теории или гипотезы. Мы публикуем только документы. Почти все эти документы публикуются впервые. Экземпляр протоколов, которым мы располагаем, принадлежал генералу Дитерихсу, принимавшему в 1919 году активное участие в следствии. При сверке его с экземпляром протоколов следствия, лично заверенным следователем Соколовым и хранящимся в архиве Хаутонской библиотеки при Гарвардском университете, оказалось, что в гарвардском экземпляре не хватает целого тома. Следовательно, обработанный нами экземпляр позволяет дополнить гарвардский текст рядом важных материалов.

Хотя не было никакой возможности, из-за обширности материала, опубликовать все тексты, мы, печатая 277 из наиболее важных документов, отобранных составителем, даем читателю возможность проследить ход расследования, оценить проделанную следователем работу и составить обоснованное мнение о судьбе Царской семьи.

Составитель этого сборника – Николай Росс, историк, автор книги «Врангель в Крыму». Над этим сборником он работал несколько лет: написал к нему введение, подготавливающее читателя к чтению документов, составил сотни ценных примечаний, необходимых для понимания книги, снабдил этот труд именным указателем, планами, картами.

«Гибель Царской семьи» – книга, единственная в своем роде!

В книге будет 650 страниц, она издается на высококачественной бумаге, в твердом переплете с золотым тиснением, с фотографиями. Формат – 19 x 27 см. Книга выйдет в 1987 году. Ее розничная цена – 200 нем. марок.

БЕСЕДА С ВЛАДИМИРОМ ВОЙНОВИЧЕМ

«Я ни разу никому не сказал, что списывал образ Сим Симыча с Солженицына и даже сейчас это отрицаю»



Я хотел бы начать с ваших выступлений, которые проходили сейчас в Нью-Йорке под названием «Трудно ли быть русским сатириком?» Не все читатели журнала могли побывать на них.

На этих выступлениях я говорил, что стал сатириком помимо своей воли и долго этой репутации сатирика даже за собой не признавал, потому что смолоду я всегда хотел быть реалистом. Но когда я описывал действительность, которую видел, то она сама была столь абсурдной, что просто прямое ее изображение оказывалось сатирой. Я прежде (потом иногда пользовался), но прежде никогда не пользовался приемами, свойственными сатирикам, скажем, гиперболизацией или нарочитым искажением действительности, потому что оказалось, что сама реальность гиперболизирована. Например, когда я писал «Чонкина», то пытался написать реалистический добротный роман о солдате. Выбрал я обыкновенного солдата, маленького, кривонногого, лопухого. Не надо думать, что это какое-то исключение, потому что солдаты всякие бывают, и маленькие, кривонogie попадают так же часто, как рослые, стройные и т.д. Просто, следуя традициям русской литературы, я пытался изобразить так называемого «маленького человека». «Чонкин» считается сатирическим романом, но когда я его писал, то ни о какой сатире не думал. И позже, когда в Союзе писателей мне предъявляли разные обвинения и говорили, что я искажил и очернил действительность, на самом деле роман не сгушал краски. Конечно, не было в нем украшательства, но и сгущения красок не было, и какие-то очень острые углы я даже обходил. Но все равно его восприняли как сатиру, причем, сатиру едкую. А потом я почувствовал, что все-таки у меня, видимо, есть то, что

смущало не только власти, но и так называемых рядовых читателей.

Вообще это явление нормальное. Когда в литературу приходит новый писатель со своим особым взглядом на мир и своей особой манерой изображения жизни, какую-то часть читателей это непременно шокирует. Затем они к этому писателю привыкают, но не хотят принимать следующего. Когда меня попрекали в том, что я смеюсь над чем-то святым, меня это поначалу смущало, а потом постепенно я пришел к мысли, что над некоторыми понятиями, которые считаются священными, в общем можно, а иногда и даже очень нужно посмеяться. И пора уже посмеяться, потому что трепетное отношение к так называемым «священным понятиям», их защита часто самым жестоким образом сказывается на людях. Они иной раз своими жизненными судьбами платят за верность или неверность этим «священным» понятиям, таким ничем не значащим символам.

Это там. А здесь вы с чем столкнулись? С такой же читательской реакцией?

Нет, отношение советских читателей и западных разное, даже очень разное. Например, в Советском Союзе мои читатели считали, что я всегда пишу очень мрачно, а здесь все считают, что я пишу очень весело. Они здесь часто не видят горькой стороны того, что я пишу, и обычно говорят: «Ах, как это смешно». Скажем, когда-то, двенадцать лет назад, меня КГБ-шники отравили в «Метрополе» и я эту историю описал. Позже я встретил одну американку и она говорит: «Вы знаете, я читала это» — «Ну и как?» — говорю. — «Это очень смешно».

А читатель наш эмигрантский и наша пресса эмигрантская?

На читателей мне обижаться нечего.

А эмигрантская пресса меня более или менее игнорирует. Когда я жил в Советском Союзе, меня здесь замечали. Когда я приехал сюда — перестали. Такой вид дальновзоркости. Впрочем (говоря это, несколько не рисуясь), меня это мало волнует. Я на себя так называемых положительных рецензий никогда не организовывал и в будущем не собираюсь этого делать. Я верю, что книги стоящие останутся в литературе и без помощи, а не стоящие не останутся, сколько бы друзья писателя не хлопали в ладоши. В начале пути объективная и доброжелательная критика писателю очень нужна, а потом можно обойтись и без нее.

Настоящей критики в эмиграции нет и не может быть, и вот почему. Хорошие критики рождаются еще реже, чем прозаики и поэты. Это своеобразный и парадоксальный дар — не будучи самому художником, уметь глубоко чувствовать, понимать и выявить природу художественного. Крупный критик обычно вырастает только в естественной среде, то есть в большом обществе, у которого есть какие-то общие проблемы, тенденции, страсти. Общественные настроения отражаются на самой литературе, на требованиях, предъявляемых к ней критикой, и на самой критике. Здесь такого общества нет. Критики в Нью-Йорке, Тель-Авиве, Париже или Мюнхене живут в резко отличающихся друг от друга общественных средах. В этих средах литературоведение возможно, а критика — нет. Для того, чтобы хорошо писать критику, она должна быть хорошо оплачиваема (задаром критик пишет торопливо). Кроме того, настоящий критик должен высказывать совершенно независимые суждения по литературным и общественным вопросам, он не должен бояться кого-то перехвалить и

не должен бояться обругать. Он имеет право быть субъективным, но не должен быть заведомо пристрастным. Здесь такой критики нет, потому что практически нет независимых изданий. В Советском Союзе положение критика было еще хуже, но сейчас там положение меняется, а здесь нет.

Короче говоря, здесь критика бывает в основном двух видов: поверхностная и групповая. Поверхностная иногда уделяет мне внимание, групповая не замечает, потому что я ни в какие группы не вхожу (и входить не собираюсь). Ни похвала, ни хула поверхностная или групповая меня не радует и не задает. Или, уточню, задает не очень... Приходится удовлетворяться иноязычной критикой. В ней больше добросовестного если не понимания, то хотя бы попытки понять, что, по выражению Зощенко, «автор хотел сказать данным своим произведением».

А на последнюю вашу книгу уже были какие-то рецензии?

За последний год у меня вышли две книги: «Антисоветский Советский Союз» и роман «Москва — 2042». Первая уже переведена на несколько языков, а вторая только что вышла в переводе на английский, в связи с чем я сюда и приехал. В американской прессе недостатка в рецензиях нет. На роман газеты и журналы отзывались дружно, причем подавляющее большинство отзывов весьма даже лестного свойства. Дело не в похвалах, а в том, что за пределами эмигрантского мирка есть еще мировая литература, в которой книги писателей (в данном случае я имею в виду только прозаиков «моего» поколения (например, Аксенов, Владимов) и старше (Синявский), и моложе (Довлатов, Савицкий, Юрьенен) публикуются, анализируются, изучаются, и это помогает ощущать, что ты кому-то еще все-таки нужен. А эмигрантская пресса (и это нормально) откликнулась на мой роман статьей Вайля и Гениса (поверхностная критика). Торопливо прочтя мой роман и сделав о нем ряд поспешных суждений, критики часть вины за недостатки романа взяли на себя, полагая, что в прошлом они были ко мне слишком добры, и поэтому я расслабился. Утверждение вздорное, и, надо сказать, самоуверенное. Если в прошлом автор писал, не расслабляясь, то можно ли его критиковать за те недостатки, которые у него еще не появились?

Что касается упреков, обращенных к автору, то не мое дело на них отвечать. На подобные упреки в нормальных условиях отвечают другие критики. Но поскольку условия, как сказано выше, не нормальные, то и первая критика останется без ответа.

В своих беседах с писателями я часто касаюсь вопроса о литературной жизни в эмиграции. Бывает, что время от времени кто-то сетует, что это неполнокровная жизнь, что если маститый писатель напишет что-то неудачное, критику никто не примет, что сам литературный процесс в эмиграции невозможен, потому что нет смены, довольно пессимистический взгляд. Бывает и оптимистический. Я-то полагаю, что литературный процесс есть, раз люди пишут, печатают, раз происходят встречи читателей и писателей, как сейчас в Нью-Йорке, с вами, с Беллой Ахмадулиной, с Окуджавой, Максимовым. Так что, по-моему, о каком-то литературном процессе можно говорить, но вот именно в плане критики и каких-то табу, которые существуют в эмигрантской прессе, то что есть, то, к сожалению, есть.

Да, табу в эмиграции много, очень много, как и в Советском Союзе. Есть и почти запретные темы и даже взгляды на жизнь. Есть личности неприкосновенные, т.е. попытка создания таких личностей. Конечно, бывает, что это табу нарушают, тогда это выглядит неким хулиганским поступком. А есть также и такое — хотя это здесь совершенно бессмысленно, в Советском Союзе в этом больше смысла, — когда, скажем, хвалят своих или ругают чужих, не вдаваясь подробно в качество написанного. Но литературный процесс здесь, конечно же, искалечен. Он и в Союзе искалечен. К сожалению, у нас — у русских писателей — вообще нет никакого выхода, потому что и там, и здесь литературный процесс находится в ненормальном состоянии. В Советском Союзе в 60-е годы появились какие-то признаки оздоровления этого процесса. Тогда критика действительно следила за появлением новых имен, анализировала новые произведения. Была, конечно, и облыжная критика, но кто-то ей возражал и какое-то стремление приблизиться к истине существовало. Потом все это заглохло, критика практически превратилась в панегирическую по отношению к секретарям Союза писателей. На этом фоне объективная

критика других писателей стала совсем бессмысленной. Теперь, как я сказал, там стало немного лучше. А в эмиграции — ну, в эмиграции так всегда было. Скажем, существовал Набоков, и пока он жил, во всяком случае, до последнего времени, эмигрантская критика его тоже не баловала. Присутствие его, его значения критики не понимали.

И с Мариной Цветаевой.

Ну, с Цветаевой вообще классический пример. А что касается процесса в литературе здесь, я бы сказал, писатель существует отчасти вне процесса. Здесь писатели, как отдельные острова в море. Какие-то корабли идут мимо и не замечают их, и эти острова считаются необитаемыми и неоткрытыми, хотя они существуют. А потом уже когда-нибудь, может быть, в конце жизни писателя или вообще после его жизни, выясняется, что такой писатель все же существовал.

Мы упомянули о священных табу, и в связи с этим я хочу коснуться вашего романа. Он вызвал много разноречивых, если не в прессе, то в устном и эпистолярном жанрах, откликов. Я вам скажу мое личное впечатление откровенно, надеюсь, вы не обидитесь. Дело в том, что я читал вашу книгу не в книге, так сказать, не собранной в единое целое, а в «Новом русском слове», то есть по кускам. Я не помню, на каком куске возник образ Солженицына, но до него я читал книгу с большим удовольствием. Но когда начались главы о Солженицыне, то это меня шокировало. Шокировало вот в каком плане: я не считаю, что есть священные табу, как вы их называли, священные коровы, люди или явления, о которых нельзя писать, скажем, сатирически. Но мне показалось, что этот образ у вас не получился. Вышла, увы, злая карикатура на Солженицына. Насколько я знаю ваше творчество, оно отнюдь не злобное. Даже когда вы иронизируете, иронизируете безжалостно, все равно злобности в этом нет. А тут я почувствовал злую карикатуру. Мне бы очень хотелось понять, почему так получилось. Причем в самой книге все остальное написано так же, как в других ваших книгах, а вот эти куски режут слух, они написаны как бы на другом настрое.

Во-первых, я вам должен сказать, что ваше мнение о романе разделяется далеко не всеми. Многие читатели отнеслись к нему в высшей степени благожелательно. Во-вторых, я сатирик и всегда

пишу зло. (Но не злобно. Злость и злобность — понятия разные.) Незлая сатира это вообще нонсенс. В-третьих, хотя фамилия Солженицын в моем романе время от времени упоминается, моего героя зовут иначе. Его зовут Сим Симиыч Карнавалов. Между прочим, из моих героев он у меня самый любимый. Тут я с вашего позволения отвлекусь и скажу, что моими любимыми героями являются вовсе не положительные персонажи, а напротив, иногда даже совершенные уроды: сумасшедший Дон Кихот, дезертир и торговец ворованными собаками Швейк, проходимцы Чичиков и Остап Бендер. Положительных героев за редкими исключениями (Болконский, Безухов) я не люблю, а тех, которых писатель предлагает мне как пример для подражания, вообще терпеть не могу. Еще замечу, что многие читатели элементарно не понимают разницы между понятиями хороший человек в жизни и хороший герой в литературе, а это вещи разные. Этого не понимают часто и сами писатели. Я знаю одного писателя, который в свою собственную комнату входит с выражением благоговения: здесь (как он говорит) живут его любимые (то есть в высшей степени положительные) герои. Любимых своих героев он срисовывает, разумеется, с себя, приписывая им свои собственные достоинства. А я, наоборот, стараюсь наделить героев своими недостатками и свои же недостатки или еще какие-то черты нахожу в героях литературы. Например, моя жена зовет меня Собакевичем. И во мне действительно есть кое-что от этого персонажа. Мне очень по сердцу его высказывание, что во всем городе «один там только и есть порядочный человек: прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья».

Я ни разу никому не сказал, что списывал образ Сим Симиыча с Солженицына и даже сейчас это отрицаю. Тем не менее, не только вы, а и другие читатели, одни с упреком, другие с иными чувствами, говорят мне: нет, вы изобразили Солженицына. На одном из моих публичных выступлений некий человек стал меня укорять этим. Я спросил: «А что, Карнавалов похож на Солженицына?». Он говорит: «Нисколько не похож». — «А как же вы тогда его узнали?» Вот я и вам задаю тот же вопрос: как вы узнали, что это Солженицын?

Очевидно то, что ваш герой ассоциируется с Солженицыным, объясня-

ется тем, что биографически много общего: писатель, бунтарь, изгнанник, бывший зэк. Это очевидно, и...

Но мой герой живет в Канаде, а Солженицын в США. В Канаде живет Григорий Свирский. Он не бывший зэк, но писатель, бунтарь и в некотором смысле изгнанник. Почему вы на него не подумали?

Карнавалов — один из главных персонажей и никак из романа не выпадает. Наоборот, без него роман стал бы бессмысленным, как «Мастер и Маргарита» без Воланда. Роман этот многоплановый во всех отношениях. В нем много сюжетных ходов и переплетения разных идей. Одна из идей — напомнить людям заповедь «Не сотвори себе кумира» (кстати, некоторым следует подумать, почему из десяти библейских заповедей эта — стоит на первом месте). Карнавалов есть образ кумира, имеющего много прототипов в русской истории, но не только в ней. Вот вы говорите — Солженицын. А я вам сейчас другую личность назову. Вот представьте себе, что этот роман переведен на персидский язык, и таким тоже есть один бывший зэк, бунтарь, изгнанник, бородач, но возвращается на белом коне на свою родину. Если бы это на персидском языке было бы напечатано, то на кого бы подумали? На Хомейни. И Фидель Кастро такой же. Собственно говоря, люди, обладающие столь большим влиянием, обязательно должны быть такими: у них должна быть трудная судьба, они должны быть бунтарями. Конечно, я мог сделать Сим Симиыча скульптором или поэтом, но это бы не спасло, все равно говорили бы то же самое, поскольку Солженицын стал фигурой символической и все взоры обращены к нему. И настолько людям кажется, что я прямо с него списывал, что говорят, что даже я даты рождения поставил его. Но это не так. У меня герой, между прочим, моложе Солженицына на девять лет, он родился в 1927 году. У него другая биография и круг литературных интересов другой. И между прочим, когда рассказчик первый раз встречается с Сим Симиычем Карнаваловым, он вообще никак не похож на Солженицына. Я встречал Солженицына вскоре после того, как «Иван Денисович» был напечатан, — этот человек не имел ничего общего с тем, с которым у меня рассказчик встречается в Бескудниково. Но все равно, этот герой должен иметь геро-

ическую биографию. А без этого не получается. А отсюда уже пошли всякие другие догадки. Уже есть люди, претендующие на роль прототипа Степаниды, есть у меня такая героиня, уже мне нашли несколько Зильберовичей, говорят, что вот этого я описал, вот этого...

Вы заметили, что в 60-е «оттепельные» годы в метрополии нашей наметился какой-то более или менее нормальный, или близкий к нормальному, литературный процесс, а потом это все сошло на нет. В связи с тем, что сейчас происходит в России — не знаю, как назвать — «мини-оттепель» или еще как-то...

Может быть, начало «макси-оттепели» тоже? Это неизвестно. Посмотрим.

Не кажется ли вам, если вы следите за этим процессом, что в каком-то смысле происходит то, что рождает снова надежды, снова критика пишет о каких-то новых именах, которые даже печатались раньше, но о них почти не писалось. Как вы вообще смотрите на литературную ситуацию в Союзе?

Насчет «мини-оттепели». Не знаю, правилен ли термин «мини-оттепель». Та, шестидесятых годов оттепель развивалась очень постепенно, тепло очень медленно. Скажем, пик ее пришелся на конец 50-х и самое начало 60-х годов. Примерно пять-шесть лет понадобилось для того, чтобы вообще в литературе появились действительно новые явления, новые времена. А у этой оттепели еще пока срок мал, делаются только первые шаги, но первые шаги гораздо значительнее, чем были сделаны в то время. Хотя пока эта значительность состоит в том, что открываются читателю какие-то ранее закрытые имена и публикуются некоторые лежащие в столах рукописи. А для настоящей литературной оттепели характерно появление новых имен, их рождение она как бы стимулирует. Пока что новых имен в советской литературе не появилось, но для этого тоже требуется время. Новые писатели должны как-то созреть и пробиться. Этот процесс, если он будет развиваться, очевидно приведет к некоторому оздоровлению и, может быть, родит настоящую или близкую к настоящей критику. Но у этого процесса есть пока еще — я не знаю, что будет потом — заведомое ограничение: табу на некоторые имена. Их вообще нельзя касаться, то есть нельзя упоминать даже писателей,

которые в современной русской литературе существуют, хотя бы того же Солженицына. Без включения их в общий процесс, хотя бы не в литературный — они ведь уже существуют, — а в процесс рассмотрения их произведений, исключение их из этого процесса делают и сам процесс и критику весьма уязвимыми. Потому что критика должна пользоваться любыми аргументами, которые каждому критику кажутся нормальными. А заниматься литературной критикой, не замечая существования в литературе, скажем, Солженицына, Аксенова, Владимирова, Горенштейна, Довлатова, Синявского, Некрасова и так далее — это просто глупо. Если имена, которые я назвал, и многие, которые я не назвал — я назвал первые, которые пришли мне на ум — если эти имена не будут включены в список рассматриваемых, то критики нормальной просто не может быть.

Я с вами согласен. То, что там сейчас Набокова, Гумилева, Ходасевича печатают, конечно, для российского читателя очень важно, но дойдет ли дело до публикаций современных авторов эмигрантских? По-моему, если это и произойдет, то очень нескоро, хотя время сейчас и движется быстрее, чем прежде.

Время движется, но в отношении к нам, еще живым эмигрантам, ничего не изменилось. Нас критикуют и с нами полемизируют по-ждановски. Выливают ушаты помоев на Владимирова и Максимова, не упускают случая, чтобы зацепить Аксенова. Ну и меня тоже. Меня поносили последними словами, еще когда я был членом СП. Тогда меня называли и предателем, и прихлебателем, и еще как-то. И сейчас тоже не забывают. Уже со время перестройки меня в советской печати называли и свиньей под дубом, и агентом (или лакеем) ЦРУ, а совсем недавно один официальный придурок сравнил моего «Чонкина» с гитлеровским «Майн Кампфом». Плевки через границу не так болезненно ощущаются (тем более, что есть возможность и в ответ плюнуть), но все равно противно. Противно еще и то, что некоторые наши коллеги в Союзе (об этом хорошо писал Аксенов) считают такое положение нормальным. Видно, сильно перестроились. Надеюсь, что в процессе перестройки дикость ситуации станет понятна и им.

А как вы думаете, почему вообще возник этот процесс?

Ну, это просто очевидно, почему. Должен сказать, что, приехав на Запад, — я просто хочу тут подчеркнуть, что не только задним умом крепок, — я спорил, я говорил, что через пять лет (с тех пор прошло шесть лет) начнутся изменения, и очень серьезные. Мне казалось это и тогда очевидным. Сейчас я могу сказать, что причины были очень серьезные, потому что советская система весьма долго занималась тем, что подрывала сама себя. Это было совершенно противоестественно. Вот сейчас там, например, разоблачают Лысенко, но лысенковщина процветала во всех сферах советской жизни все время на протяжении семидесяти лет. Подрывалась человеческая мораль, подрывалась экономика. Этой системе всегда угрожают два фактора: когда ее слишком зажимают, она становится нежизнеспособной и начинает загнивать, а как только, спасаясь от загнивания, ее либерализуют, сразу возникает угроза для существования однопартийной системы. Теперь там идет процесс демократизации, который имеет смысл только, если это движение к демократии, иначе — что такое демократизация? А если дело доходит до демократии, то людям разрешают говорить то, что они думают. И они же сразу задумываются — а почему у нас только одна партия? Это первый вопрос, который люди задают. Партия же не хочет, чтобы этот вопрос ставился на повестку дня. Тогда она начинает опять зажимать людей. Это всегда то, что Черчилль называл «попыткой перепрыгнуть пропасть в два приема». На протяжении последних лет брежневского правления все пороки этой системы выявились полностью, условия существования советских людей дошли вообще до полного абсурда. Кроме того, важно, что эта система сформировалась в 30-х годах. Сталин завершил ее формирование, и она для тех времен еще годилась. Тогда можно было послать миллионы заключенных рыть каналы — это все работало. Сейчас система вошла в резкое противоречие с достижениями нашего времени. Сейчас для того, чтобы страна могла существовать, соревноваться с другими странами, нужно активизировать творческий потенциал всего общества. Сейчас миллионами лопат ничего не построишь, значит, нужны компьютеры, высшая техника, все такое, а в условиях полной зажатости, в условиях страха, в условиях, когда свирепствует

цензура, вся эта творческая жизнь заглушается. Говорят, что советские постоянно выкрадывают у Запада те или иные технологические и технические секреты. Это правда. Но — это не важно. Все равно они по большому счету использовать их не в состоянии. Если бы они даже все секреты украли, то и тогда они бы не могли сравняться с наиболее развитыми странами. Я тут приведу такой неприличный пример. Это как импотент, который подглядывает в замочную скважину, видит, как это делать, знает, как это делать, но сам повторить этого не может. То есть, все уже там, в Союзе, кричало, что надо что-то делать, наступила крайняя необходимость. Поэтому я считаю, что эти попытки сейчас — не блеф и не трюк. Это серьезно. Но опять-таки, система войдет в столкновение сама с собой, и что из этого получится, я не знаю.

Ясно, что наряду со сторонниками преобразований повсюду есть, и особенно в среднем звене партаппарата, мощная армия, которая думает прежде всего о своих постах, о своей власти, о своих привилегиях. Этим людям страна безразлична — после нас хоть потоп — и они, мне кажется, сопротивляются изменениям изо всех сил. Такие дремучие силы есть и в Союзе писателей и в Союзе художников. И то, например, что ни Горбачев, ни Ельцин не появились на съезде журналистов — тоже об очень многом говорит. Они, вероятно, чувствовали, что там очень мощная оппозиция всему этому делу.

Собственно говоря, тут парадоксальная ситуация возникает. Я бы сказал, все институты, из которых состоит советское общество, они все против. За перестройку отдельные люди, они есть везде — и в партии, и в Союзе писателей, но в целом все институты, как общественные элементы, против, а Союз писателей — не знаю, как Союз художников, но Союз писателей, я думаю, более влиятелен, поскольку у него в руках средства массовой информации — газеты, журналы и т.д. — это настолько реакционная организация, причем члены этой олигархии имеют иммунитет, с ними ничего сделать нельзя. Можно выкинуть члена Политбюро, но ничего нельзя сделать, скажем, с Марковым, с Чаковским, во всяком случае, пока ничего нельзя было сделать. Обычно члены Политбюро редко переживают своих генеральных секретарей, если переживают, то ненадолго, пото-

му что следующий генеральный секретарь их убирает, а верхушка Союза писателей — неизменна — люди, которые пережили и Сталина, и Хрущева, и Брежнева с Андроповым, и Черненко, и сейчас живут. И я думаю, что для партийных руководителей, для Горбачева, это большой балласт. Скажем, Бондарев, который недавно выступил, он вообще угрожал перестройке Сталинградом, сравнил положение в Советском Союзе с июнем 41-го года. Ни один диссидент не позволял себе так активно выступать против линии партии. Бондарев, если вы помните, сказал: «Если мы не дождемся своего Сталинграда, наша культура будет сброшена в пропасть». И вот с ним пока ничего сделать нельзя. Можно, повторяю, выгнать на пенсию члена Политбюро, а его куда выкинешь? Ему создали репутацию крупного писателя, Героя труда. Писателя, вроде, нельзя уволить. Правда, секретарей-то все-таки можно выкинуть, как в Союзе кино выкинули Бондарчука. Но эти люди за десятки лет уже спелись, они держатся вместе, рука руку моет, и пока такие очаги сопротивления не будут разгромлены, пока они «не дождутся своего Сталинграда», до тех пор рассчитывать на успех перестройки трудно.

В области культуры? Но такие есть, очевидно, везде.

Да, конечно, это все связано. Но надо сказать, что в Госплане, скажем, все эти бюрократы, как их назвать, реакционеры, что ли, все эти люди, которые против перестройки, они менее защищены, чем главари Союза художников, Союза писателей, Союза композиторов, потому что они на должностях. С должности можно снять — и человек превращается в никого. Кроме того, я думаю, что в экономике еще есть шанс заменить таких пустозвонов деятельными людьми. Многие люди все-таки соскучились по активной деятельности, поэтому так кого-то можно заменить, а в литературе заменить нельзя. Они же оказывают огромное отрицательное влияние на все общество, потому что держат в руках и газеты, и журналы.

Кого-то можно убрать, как вы сказали, сместить с должности, но всех сторонников и единомышленников этого секретаря сместить трудно, поскольку их великое множество, как говорится, нет им числа.

Конечно, трудно. Тут еще что получилось: Союз писателей — отряд в

10.000 человек. Основной костяк его сформировался давно, а в последнее время туда набрали такую шваль, что если сейчас попробовать провести там демократические выборы, то я не уверен, что что-нибудь всерьез переменится, так как все эти — не только секретари, но и те, что пониже — они не могут жить в других условиях и поэтому, скорей всего, выберут себе тех же начальников. Только при них эти бездари могут жить и существовать как писатели. Если они будут поставлены в условия нормальной конкуренции, которая в литературе должна быть, как и в экономике, то они тоже превратятся в никого.

Но в Союзе кинематографистов получилось.

Союз кинематографистов — другое дело. Этот союз состоит из профессионалов, людей, которые имеют специальность. Поэтому там — много людей, которые чувствуют, что они могут работать в нормальных здоровых условиях. Даже в более консервативном Союзе художников — люди все же иные, чем с Союзе писателей. Для того, чтобы стать членом Союза художников, надо уметь нарисовать хотя бы, скажем, сапог. В Союзе писателей не надо никакого умения, поэтому там на самом верху люди абсолютно некомпетентные, ничего не умеющие делать, и следующий эшелон — точно такие же, как и они. Все-таки в Союзе кинематографистов самая верхушка была заменена людьми, стоящими близко к вершине, а тут... Я в Союзе писателей вижу несколько человек, которые могли бы достойно возглавлять, что ли, но из этих нескольких один вообще не хочет заниматься никакой общественной деятельностью, другой хочет только занять эту площадку и делать то же, что делали его предшественники. Очень мало таких людей — и авторитетных, и склонных к общественной деятельности, и склонных вообще к оздоровлению обстановки.

В Нью-Йорке этой весной русская литературная жизнь была на редкость активной. Я имею в виду то, что здесь чуть ли не одновременно оказались крупные соединения писателей и поэтов из Советского Союза и в то же время сюда приехали и вы, и Максимов, и Синявский. Я не говорю об одинаковом моральном плане всех прибывших из Москвы: Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной и Окуджавы. Это для

меня в моральном плане люди разные, скажем, если Евтушенко и Вознесенский для меня ассоциируются с советским режимом, то другие не ассоциируются, существуют в этом режиме, но не ассоциируются с ним. Но, тем не менее, интересно, что это, собственно, произошло впервые и впервые было дозволено общение между писателями из метрополии и нами, эмигрантами. Даже конференция состоялась в Вашингтоне, в которой участвовали и писатели-эмигранты, и москвичи. Как вы думаете, почему и на это советские пошли?

Почему? Потому что власти, некоторые люди, во всяком случае, в Политбюро, действительно хотят оздоровить обстановку и действительно хотят, чтобы закончилась та ситуация, когда ездили на Запад только эти агитаторы — Евтушенко, Вознесенский. Они постоянно ездили на Запад, брались защищать интересы Советского Союза — а в общем, они не могли, потому что они не знали, что говорить, им на правду нечего было отвечать. Так вот, сейчас пытаются что-то изменить и в этом направлении. Кстати, процесс этот повторяется, потому что, скажем, в конце 50-х — начале 60-х годов на Запад ездили люди типа Софронова, Кочетова, а потом власти увидели, что эффекта от них никакого, лишь один позор. Тогда-то и возникли такие эмиссары, как Вознесенский и Евтушенко, люди с репутацией бунтарей. Теперь их репутация подорвана, польза от их приезда почти такая же, как от приезда Софронова, хотя они, конечно, разного уровня способностей. Теперь пытаются посылать людей с безупречной пока репутацией. Для этих людей будет очень важным: сохранят ли они свою репутацию или купятся сами и начнут себя вести, как Евтушенко и Вознесенский. Тогда в их поездках смысла тоже не будет. А сейчас есть попытка влить свежую кровь в это дело.

Как известно, делались шаги кого-то из известных писателей, людей изобразительного искусства даже вернуть назад. Может быть, давая возможность такого общения, надеются и этому делу способствовать?

Может быть, но дело в том, что этот процесс тоже противоречив. Когда была в советской печати кампания против так называемого «Письма десяти», в «Огоньке» появилась знаменательная статья. Говорят, мол, что среди эми-

грантов распространяются слухи, что якобы кого-то приглашают, умоляют вернуться, и мы обратились в компетентные органы, где нам сказали: все это чепуха, мечтательная эмигрантская брехня, никого мы не приглашали и приглашать не собираемся, каждый может сам сделать свой выбор. Но это просто абсурд, это глупость, потому что как может сделать выбор, скажем, человек, которого лишили советского гражданства? Он не может купить билет и поехать туда. Значит, для того, чтобы он сделал свой выбор, власть должна признать какие-то свои действия против этого человека неправильными. Это, кроме всего, иного. Я даже не говорю о том, что остальное оскорбительно. Но остальное и просто нереально. И я думаю, что этот процесс, если он будет развиваться дальше, коснется больше художников, музыкантов, танцовщиков, а писателей... Ну, если какой-то поэт пишет некие туманные стихи, непонятно о чем, это, может, и возможно. А любой большой роман, написанный на русские темы, поскольку это всегда многопланово, в нем всегда обязательно присутствуют какие-то острые вещи, и чтобы сейчас приглашали прозаиков, мне трудно себе это представить. Но, собственно говоря, никого не приглашают, а только намекают. Шемякину намекали и даже интервью с ним в «Литературке» напечатали. Еще и о Севеле «Литературка» статью напечатала. А больше ничего реального...

Было бы очень интересно, если бы вы рассказали о вашей эпопее с Залыгиным. Накануне его выступления в Париже прошел слух, что перед этим он выступал где-то в Скандинавии и сказал, что будет печатать «Раковый корпус». И сразу же из Советского Союза его заявление было дезавуировано, и в Париже он заявил, что его неправильно поняли. Даже Наталья Солженицына ответила на это, сказав, что им никто никакого предложения не делал. В связи с этим мне представляется весьма интересной ваша с Залыгиным переписка.

Дело в том, что Залыгин и другие говорили не только то, о чем вы упомянули, но говорили: «Да, конечно, но дело в том, что для того, чтобы печатать эмигрантов, надо, чтобы они тоже проявили какой-то интерес к этому». Я это услышал и решил «проявить интерес». Правду сказать, я не верил, что из этого что-то получится, хотя, ко-

нечно, я хотел бы, чтобы получилось. Это нормально, я думаю, объяснять тут нечего. В общем, я решил проверить эту ситуацию, потому что эти туманные заявления становятся основой для подрыва нашей здесь репутации. Говорят: «Вот, в Советском Союзе происходят сейчас такие изменения, а эти эмигранты только злобствуют, они не хотят ничего видеть». И я решился, послал Залыгину свой, как многие считают, лучший рассказ «Путем взаимной переписки», который был когда-то написан для «Нового мира», был набран там, я даже получил аванс. Отвергли рассказ в последний момент, почти перед выходом журнала. И вот я послал его Залыгину, сопроводив вежливым письмом. Честно говоря, я даже не ожидал ответа, хотя неотвечен был бы тоже своего рода ответом. Но ответ я получил, на новомирском бланке и в конверте новомирском. Ответ вежливый по форме, как и я ему написал, но хамский по содержанию. Залыгин, правда, считает, что не хамский, он считает, что мое письмо очень грубое, мое второе письмо ему. А в первом письме Залыгин написал, что да, этот процесс идет, «но это внутреннее наше дело, это внутренне текущий процесс, и вообще мы собираемся здесь обойтись своими силами, а если мы будем делать исключения, то только для высокохудожественных произведений». И Залыгину кажется странным, что десятки, как он написал, авторов, считают свои произведения высокохудожественными. Конечно, писателю трудно начинать доказывать: «Я — действительно высокохудожественный», но в свое оправдание могу сказать, — я ему это написал — они сейчас пытаются подражать тому «Новому миру» 60-х годов, они собираются хранить традиции Твардовского, но при Твардовском я действительно считался высокохудожественным автором «Нового мира», Твардовский меня считал одним из самых лучших, считал меня своим открытием, он мне говорил такие слова, которые я сейчас повторять не буду. Поэтому я, естественно, счел письмо Залыгина грубым, хамским, о чем ему и написал. В ответ, к моему удивлению, он прислал еще одно письмо. Причем, я ему написал в первом письме, что я надеюсь, что процесс, который сейчас происходит, коснется не только мертвых писателей, но живых тоже. Во втором, ответном письме я

ему написал: «Вы свою задачу насчет высокохудожественности сформулировали неправильно: Вам надо было ее сформулировать так, что произведение должно быть высокохудожественным, а автор — мертвым, причем, оптимальный срок мертвости, как я заметил, колеблется между двадцатью пятью и шестидесятью пятью годами»... Второе письмо Залыгина было одновременно и разнуданным и каким-то жалким, я даже не понял, что его так взволновало. Если я действительно какой-то третьестепенный писатель, так надо поручить третьестепенному рецензенту, пусть он мне и ответит, как это принято. А то вдруг сам главный редактор, себя-то он наверное считает крупной фигурой, и вдруг второе письмо, в котором он мне пишет: «Мы сейчас собираемся печатать Набокова, Пастернака, Булгакова и Платонова, и Вы считаете, что Вам хамлю, если Вас не включаю в этот список?» Я ему сейчас еще одно письмо написал. Я говорю: «Вы не заметили, я Вам в двух письмах написал, что хочу попасть не в список мертвых, а в список живых. А из живых Вы мне такого блестящего списка представить не можете, так мне кажется».

Короче говоря, я действительно равнодушен к тому, что происходит в Советском Союзе, никогда не делал вид, что равнодушен, и что бы там ни было, хорошее или плохое, я всегда буду смотреть на это с интересом и волнением. А Залыгин мне показывает, что он один из охраняющих советскую границу, он не хочет пропустить ни меня, ни то, что я пишу. А он относится, между прочим, к числу перестройщиков, считается ныне одним из больших либералов.

И традиционный вопрос: над чем вы сейчас работаете? Когда-то в «Стрельце» был отрывок из вашей вещи, которая была недокончена...

В «Стрельце» был отрывок из моей повести, которая называется «Шапка» о том, как советский писатель добивался привилегий, которые ему не были отпущены сверху. Я долго над этой повестью работал, сейчас я ее вчерне закончил, я еще собираюсь ее переписать, но в целом она более или менее завершена. Есть у меня, конечно, еще несколько идей и сюжетов, которыми я сейчас занимаюсь, но главная моя задача — написать третью и последнюю книгу «Чонкина». В ближайшее время

я собираюсь к этой работе приступить.

Вопрос я задал не только из-за традиции и не из-за любопытства. Существует теория, которую высказывают разные люди, в частности, Зиновьев, — он ее, кажется, первый сформулировал — что русский писатель, оказавшись на Западе, через несколько лет чахнет, потому что исчезают темы и т.д. И тут есть два варианта: есть писатели, которые, как Владимов, говорят, что они столько увезли внутри себя, что у них никогда не истощится запас, тем множество, было бы время, чтобы их воплотить. И есть писатели, которые начинают обращаться к западной жизни. Судя по тому, что вы сказали, у вас на русскую тему увезено столько, что вполне хватит материалов на много лет вперед.

Я считаю этот вопрос искусственным, потому что, во-первых, каждый писатель рано или поздно чахнет в любых условиях — живет он дома или за границей, — и мы знаем много случаев, когда человек, живущий в своей стране, напишет одну книгу, а дальше становится неспособным. Почему это происходит — неясно, бывают вообще писатели одной книги. Если его переселили в эмиграцию, то какие-то люди в России злорадно или сочувственно сказали бы: «Ну вот, видите, вот и все», и никто не отдает себе отчета, что он там бы тоже, может, кончился. Во-вторых, у каждого писателя бывает какой-то предел, за которым он начинает повторяться или исписываться, это тоже бывает. Есть многие писатели в эмиграции, которые просто прожили лучшую свою часть жизни в Союзе. Значительную часть творческой жизни. Если бы они там остались, они бы все равно дальше не двинулись, а теперь все это сваливается на то, что они оказались в эмиграции. Кроме того, эмиграция действительно суровое испытание для писателя, но не такое, из которого нельзя выйти живым, потому что писатель живет и какая-то жизнь его всегда окружает — такая, сякая. Вот мы сейчас сидим в Нью-Йорке и в Нью-Йорке идет какая-то жизнь — разве она не достойна отражения? Достойна. И неважно, о чем писать — можно писать об американцах, о немцах, об эмигрантах. Взять того же Набокова. Он описывал жизнь эмигрантов и стал крупным писателем. Вообще можно писать об иностранце в непонятном мире, да масса тем существует. Любая жизнь до-

стойна отображения. Я, например, себе никаких в этом смысле задач не ставил. Я не говорю, что буду держаться только за российскую тему и буду ее как-то отделять от всей остальной жизни. У меня в этом новом романе часть действия происходит на Западе, и там не только эмигранты, а есть и какой-то немец, и какой-то американец. И у меня есть рассказы, где западная жизнь тоже присутствует, хотя я и не собирался специально переходить из одной жизни в другую. Просто возникает некая идея, некий замысел. Самый первый свой рассказ в жизни, в 1956 году, я написал о заграничье, как ни странно, хотя я к тому времени еще ни разу за границу не был. Все эти проблемы надуманные...

Интервью взял Александр Глезер
Нью-Йорк, июнь 1987 г.

P.S. В дополнении, которое я делаю через несколько месяцев после того, как состоялось это интервью, хочу отметить, что роман мой «Москва — 2042» оказался более злободневным, чем я ожидал. Настолько злободневным, что действительность как бы идет по следам моей выдумки. В описанном мною будущем с этим романом и его автором

борются бюрократы Московской коммунистической республики — коммуна и приверженцы Сим Сими́ча Карнавалова — симиты. То же и в жизни (сегодня, а не в будущем). Советские таможенники изъяли роман из багажа издательства «Ардис» и не допустили на Московскую книжную ярмарку, а здешние Зильберовичи, точно, как в романе, вычеркивают имя автора и название романа из всех доступных им списков, включая рекламы издательства и книжных магазинов, пытаются приостановить распространение романа. Так что цели коммуны и симитов знаменательным образом совпали. Правда, за первыми еще стоит государственная сила, а за вторыми пока нет. А была бы, то возможные способы ее употребления предугадать нетрудно. Вот как жизнь отражается в литературе, а литература влияет на жизнь. Я не жалею о ситуации, потому что всегда помню, что никакую книгу такими простыми усилиями вычеркнуть из литературы нельзя. Я только удивляюсь, как некоторые люди, несмотря на преподанные им уроки, не боятся выглядеть смешными.

Мюнхен, октябрь 1987

Читайте в следующем номере «Стрельца»

Проза: Юрий Анненков,
Михаил Излета, Михаил
Лемхин, Сергей Юрьенен
Поэзия: Леонид Губанов,
Кристина Зейтунян-Белоус
Интервью с поэтом Львом
Лосевым
Беседу Михаила Геллера и
Владимира Максимова о
творчестве Василия
Аксенова
Воспоминания художника
Гавриила Гликмана
Публицистику Доры Штурман
Рецензии на новые книги

Дора Штурман

СОЛЖЕНИЦЫН И
ДЕМОКРАТИЯ

В этом номере „Стрелец” начинает публикацию главы из книги Доры Штурман „Городу и миру. Публицистика Солженицына”, которая выйдет в издательстве „Третья волна” весной нынешнего года. Мы предваряем публикацию главы „Солженицын и демократия” заключением из книги Д. Штурман.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Urbi et Orbi

Жизнь продолжается, а в книге необходимо в какой-то момент поставить последнюю точку. Между окончанием книги и ее выходом в свет произойдут многие события, на которые автор уже не сумеет отозваться: книга будет в руках издателей, а затем — читателей. Мы не исследовали в ней ни публицистических книг Солженицына („Архипелаг ГУЛАГ” и „Бодялся теленок с дубом”), ни публицистических глав „Красного колеса”: для этого понадобились бы годы работы и тома текста. Но и рассмотренное нами свидетельствует: перед нами писатель, чей опыт и чьи мысли об этом опыте бесценны не только для его родины, но и для всего человечества. Отсюда название этой книги: „Городу и миру” — „Urbi et Orbi”.

Сегодня на родине Солженицына и во многих странах, следующих или вынужденных следовать советским путем, нельзя открыто читать его книги. Но их можно читать на Западе и во многих странах „третьего мира”. И это чтение на соответствующих языках могло бы сослужить человечеству великую пользу, если бы не те предостерегающие от доверия к Солженицыну ярлыки, которые лепят на него поверхностные или недобросовестные ценители его творчества. Я не говорю о полемике по поводу художественных достоинств „Красного колеса”, представляющей диаметрально противоположные мнения. Но Солженицына сплошь и рядом изображают реакционером, ретроградом и шовинистом-ксенофобом, в то время как перед нами религиозный моралист, либерал в классическом смысле этого слова и убежденный центрист в политике.

Но понятие „центрист” в приложении к Солженицыну должно быть дополнительно оговорено и осмыслено. Пребывание в центре политического и мировоззренческого спектра данного общества слишком часто связывается в представлении наблюдателей и в реальности с отсутствием четкой позиции, с пассивностью, с колебаниями то вправо, то влево (последнее — чаще, ибо левый край сегодня как правило и активней, и массивней правого), с политической бесхарактерностью и расплывчатостью. Солженицын в „Красном колесе” и в публицистике беспощадно обнажил эти качества центристов XX века — российских дооктябрьских (с октября 1917 года началось их истребление и частично изгнание) и современных западных. Вместе с тем он настойчиво говорит о желательности „средней линии” политического поведения. Что он при этом имеет в виду? Прежде всего — линию очень четкую, самостоятельную, не поддающуюся искажающим инородным влияниям и притом способную учесть и освоить все ценное, что есть в других течениях общественной мысли и политических движениях. Поведение активное и последовательное, цель которого — сочетание устойчивости человеческого и общественного бытия с необходимыми переменами и развитием. Идеал такого центризма — гражданская, личная и экономическая свобода, не переходящая в разрушительную по-

требительскую эйфорию, в преступное своеволие и разнузданность, терроризирующие нынешний мир.

Солженицыну по душе работоспособный, мускулистый и энергичный центризм (может быть, к нему приближаются, не всегда последовательно, Р. Рейган и М. Тэтчер), способный реализовать свои идеалы и цели и защитить их от агрессии извне и изнутри своего общества. Основа такого движения для Солженицына — духовное просветление, моральное самосовершенствование, неустанный нравственный рост всего общества (каждого человека) на религиозной основе. Но и соответствующее законодательство, и соответствующая линия поведения исполнительной и судебной власти.

У Солженицына нет полной уверенности, что человечество нашупает этот спасительный путь, но у него есть надежда на это. И есть убеждение, что иначе миру сему — погибеть.

Горячее всего Солженицын надеется на то, что коммунистическое затмение сойдет с его родины. Как это ни парадоксально звучит, одним из самых главных показателей органичности или косметичности перемен, происходящих в Советском Союзе, является отношение кремлевских правителей к творчеству Солженицына в его полном объеме. Если все, что написано Солженицыным, вернется на его родину и будет там издано массовыми тиражами, это будет означать, что КПСС отказалась от той „монополии легальности” (Ленин), которая была краеугольным камнем ее господства семьдесят лет. Дело в том, что творчество Солженицына полностью отрицает партийную версию мировой, русской и советской истории, партийное толкование революции, коммунизма и социализма, партийный муляж Ленина. Солженицын отвергает мировоззрение, тактику и стратегию коммунизма как в его наиболее общих принципах, так и во всей бытовой конкретности этого движения и учения. Взамен Солженицын формулирует свое толкование исторических событий и общественных течений, свою систему ценностных координат. Оставаясь самими собой, вручить своим подданным феномен, имя которому — творчество Солженицына, правители СССР не могут. Это породило бы в подвластном им обществе необратимые мировоззренческие процессы. Духовная ночь, семьдесят лет стоящая над народами СССР, начала бы рассеиваться: вернув Солженицына, не было бы причин не возвернуть других, тоже полностью.

Насколько реален такой поворот событий, пусть судит читатель.

Дора Штурман

6 сентября 1987 года

„Это — историческая роковая ошибка либерализма, не видеть врага слева. Считать, что враг всегда только справа, а слева, мол, врага нет. Эта та самая ошибка, которая погубила русский либерализм в 1917. Они проглядели опасность Ленина, и то же самое повторяется сейчас, ошибка русского либерализма повторяется в мировом масштабе всюду и везде” (II, стр. 407–408).

...я не говорю, что демократии находят-ся при конце, а что они — в упадке во-ли, упадке духа и веры в себя. И цель моя — вдохнуть в них эту волю, вер-нуть им эту твердость или призвать их к этой твердости” (II, стр. 211).

...я не против демократии вообще, и не против демократии у нас в России, но я за хорошую демократию и за то, что-бы в России шли мы к ней плавным, осторожным, медленным путем” (II, стр. 130).

Г л а с н о с т ь, честная и полная гла-сность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже (II, стр. 13, разрядка Солженицына).

Отчасти мы уже касались этой темы в предыдущей главе. В значительной степе-ни нам придется к ней возвращаться в той части книги, в которой мы будем го-ворить об отношении Солженицына к За-паду (и Западу — к России и СССР) и о проблемах сопротивления коммунизму, исследуя интерпретацию этих проблем Солженицыным. И все же некоторые ас-пекты истолкования им сложного фено-мена современной западной демократии и этого строя как некоего социального и этического принципа хотелось бы рассмо-треть в отдельной главе.

Из Письма IV съезду ССП, из Нобелев-ской лекции, из „Образованщины”, из призыва „Жить не по лжи”, из „Письма вождем” (с некоторыми компромиссны-ми ограничениями, вытекающими из пси-хологии его адресатов), из некоторых других упомянутых и не упомянутых на-ми выступлений Солженицына непред-убежденный читатель вынесет отчетливое впечатление: свобода печати, свобода са-мовыражения граждан, гласность — кра-еугольные камни, на которых должно быть построено, по его убеждению, здо-ровое общество. Эта мысль с предельной полнотой выражена в маленьком публи-цистическом шедевре — в „Открытом письме Секретариату Союза писателей РСФСР” от 12 ноября 1969 года по пово-ду исключения Солженицына из ССП. В этом торжественном и яростном моноло-ге знаменитое письмо Л. К. Чуковской

М. Шолохову названо „гордостью рус-ской публицистики”. В нем Солженицын защищает от предстоящего исключения из ССП Л. Колпелева, „фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно, — те-перь же виноватого в том, что заступает-ся за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил тайну кабинета” (Выд. Солже-ницыным. II, стр. 12–13).

И далее следуют слова, которые само-му последовательному демократу нечем дополнить:

„А зачем ведете вы такие разговоры, кото-рые надо скрывать от народа? А не нам ли бы-ло пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных пере-говоров, тайных непонятных назначений и пе-ремещений, что массы будут обо всем знать и судить о т к р ы т о?

„Враги услышат” — вот ваша отговорка, вечные и постоянные „враги” — удобная осно-ва ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась не-медленная открытость. Да что б вы делали без „врагов”? Да вы б и жить уже не могли без „врагов”, вашей бесплодной атмосферой стала н е н а в и с т ь, ненависть, не уступающая ра-совой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его ги-бель”

(II, стр. 13. Разрядка Солженицына).

В том расхожем стереотипе образа Солженицына, которым так часто мани-пулирует критика со времени „Письма вождем” и „Образованщины”, он пред-стает изоляционистом и ксенофобом. Иначе, как непочтением большей части его работ, я не могу объяснить это заблуждение. На самом деле тот основной демократический принцип — требование гласности, который он считает неотъем-лемым свойством нормального общест-ва, он выводит из наших неотъемлемых всечеловеческих — общечеловеческих — свойств:

„Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество. А чело-вечество отделилось от животного мира — мы-слью и речью. И они естественно должны быть свободными. А если их сковать — мы возвра-щаемся в животных.

Г л а с н о с т ь, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого обще-ства, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стра-не гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гни-ли там”

(II, стр. 13. Разрядка Солженицына).

В коротко, виртуозно отточенном об-ращении „На случай моего ареста” (ав-густ 1973 года) Солженицын категориче-

ски отрицает право правительства опре-делять судьбы литературы:

„Я заранее объявляю неправомерным лю-бой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой ее, над любым русским ав-тором”

(II, стр. 41).

Нельзя забывать о том, что в 1969–1973 гг., о которых мы сейчас говорим, Солженицын, с одной стороны, остро страдает от невозможности легального, открытого печатного самовыражения в родной стране, то есть фактически от от-сутствия в ней демократии; с другой — он мучительно занят поисками бескров-ного, сравнительно благополучного, по-степенного раскрепощения родной стра-ны. Это настойчиво приковывает его вни-мание к возможности не взрывного, ре-волюционного, а медленно, ответственно проводимого сверху перехода к более выносимым общественным обстоятель-ствам. Мы уже обращались к этому вари-анту российского будущего в публици-стике Солженицына (с его всегда вопроси-тельной, а не утвердительной интонаци-ей) в истолковании данной проблемы. Вместе с тем у него начинает вызывать все больше сомнений нравственное и по-литическое благополучие Запада.

В статье „На возврате дыхания и со-знания” (I, стр. 24–44) (подзаголовок: по поводу трактата А. Сахарова „Раз-мышления о прогрессе, мирном сосуще-ствовании и интеллектуальной свободе”), написанной в 1969 году, тогда же переданной Солженицыным Сахарову, дополненной и пущенной в самиздат в 1973 году, непосредственно затронут, среди многих прочих, и вопрос об отно-шении Солженицына к демократии.

Независимо от того, какой видится Солженицыну будущая Россия, пригово-ренность подсоветского общества к мол-чанию о самых существенных проблемах жизни представляется ему безусловным злом:

„Кажется, мучителен переход от свободной речи к вынужденному молчанию. Какая мука живому, привыкшему думать обществу с ка-кого-то декретного дня утерять право выра-жать себя печатно и публично, а год от году замкнуть уста и в дружеском разговоре и даже под семейной кровлей.

...За десятилетия, что мы молчали, разбре-лись наши мысли на семьдесят семь сторон, ни-когда не перекликнувшись, не опознавшись, не поправив друг друга. А штампы принудитель-ного мышления, да не мышления, а диктован-ного рассуждения, ежедневно втолакиваемые че-рез магнитные глотки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспек-тируемые для кружков политучебы, — изуро-довали всех нас, почти не оставили неповреж-денных умов.

И теперь, когда умы даже сильные и смелые

пытаются распрямиться, выбиться из кучи дряхлого хлама, они несут на себе все эти злые тавровые выжжины, кособокие колодки, в которые загнаны были незрелыми, — а по нашей умственной разьединенности ни на ком не могут себя проверить”

(I, стр. 24, 25. Выд. Д. Ш.).

Свободная речь и свободная мысль, себя в ней выражающая (основа и неотъемлемый атрибут любой формы демократии), представляются писателю одним из первичных, главных условий нормального существования человека и общества. В 1969–73 гг., на гребне собственного взлета к свободной, не связанной ничими запретами речи, он с нетерпением ожидает массового прорыва брони молчания и лжи от своих сограждан, но прозорливо предвидит и трудности этого перехода:

„Но и обратный переход, ожидающий скоро нашу страну, — возврат дыхания и сознания, переход от молчания к свободной речи, тоже окажется и труден и долог, и снова мучителен — тем крайним, пропастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, даже членами одного тесного круга”

(I, стр. 25).

Что и произошло, заметим мы, и в Самиздате и в эмиграции. И даже в советском, так и не пережившем еще (1987) неподдельной раскрепостительной эволюции или революции обществе, те, кто мыслят чуть шире быта, тяготеют, чаще даже не зная того, к различным мировоззренческим группам Самиздата и эмигрантской литературы, являющимся объективно их выразителями. Если же это разномыслие зазвучит массово, обретя (не будем предугадывать — как) действительную легальность, можно ли будет избежать деления общества на группы более близких друг другу мировоззренчески людей, то есть на партии, союзы, движения, оформленные или не оформленные организационно? И как может рядовой член общества, не занятый непосредственно политикой и (или) литературой, отобрать для себя более желательную, более близкую программу без выбора из некоего разнообразия таковых — без происходящего на его глазах свободного, открытого соревнования личных и — неизбежно — групповых (т. е. партийных) мнений?

Солженицын же в этой статье настойчиво выражает сомнение в целесообразности партийной, в том числе *многопартийной*, самоорганизации общества. Вот часть его доводов:

„Partia — это часть. Всякая партия, сколько знает их история, всегда защищает интересы этой части против — кого же? против остальной части этого народа. И в борьбе с другими пар-

тиями она пренебрегает справедливостью для выгоды: вождь оппозиции (кроме разве Англии) не похвалит правительство за хорошее — это подорвет интересы оппозиции; а премьер-министр не признается честно и публично в ошибках — это подорвет позиции правящей партии. А если в выборной борьбе можно тайно применить нечестный прием, — то отчего же его не применить? А своих членов, меньше ли, больше ли, всякая партия нивелирует и подавляет. От всего этого общество, где действуют политические партии, не возвышается в нравственности. И в сегодняшнем мире все больше проступает сомнение, и маячит нам поиск: а нельзя ли возвыситься и над парламентской много- или двухпартийной системой? не существует ли путей внепартийного, вовсе *беспартийного* развития наций?”

(I, стр. 38. Курсив Солженицына).

Полагаю, что при свободном и не искаженном противостественными запретами существовании „путей внепартийного, вовсе *беспартийного* (курсив Солженицына) развития наций” не существует. Даже и при дворах абсолютных монархов и вокруг этих дворов всегда существовали явные и конспиративные партии. И только тотал стремится искоренить в обществе все институты, кроме тех, через которые осуществляет свою диктатуру его верхушка.

А в свободном расслоении нынешнего изгнаннического и эмигрантского Зарубежья разве не ближе Солженицын к „Вестнику РХД”, к его издателям, авторам и читателям, чем к „Синтаксису” или „Стране и миру”? И не с тем же ли кругом он стал бы сотрудничать в свободной России? Партия („partia” — это часть”) отнюдь не всегда „защищает интересы этой части... против остальной части... народа”, но сплошь и рядом в условиях демократии гласно защищает *свои представления о благе всего народа или его большинства*. И много ли зла в том, чтобы некоторые партии представляли и отстаивали интересы определенных частей (групп и кругов) народа? Ведь и у прочих не отнята такая возможность! В начале своей статьи Солженицын защищает право „привыкшего думать общества” „выражать себя публично и печатно”, называет осуществление этого права „возвратом дыхания и сознания”. При наличии такого права *любые* лица, круги и сообщества должны быть вольны высказывать свои *scredo* и критику чужих воззрений. Кроме очень немногих социально опасных групп, поставленных вне закона (в порядке демократической процедуры) уголовным кодексом. Идеал и тут не запрещение, а умение здоровых общественных сил уничтожительно разбивать аморальные и асоциальные взгляды в публичной полемике и привлекать общество на свою сторону. Это, правда, потребовало бы от зрячей и этически цивилизованной части

общества гигантской активности и перманентных усилий, которые в наши дни не расходуются на защиту нравственных и социально перспективных воззрений нигде в мире. А на внедрение смертоносных мифов расходуются с избытком...

Если свободные люди не могут не сближаться по родству воззрений и интересов (как бы мы такие союзы ни называли и ни оформляли), то *отсутствие* партий (союзов, движений, объединений, течений, сообществ, содружеств и пр.) не означает ли *запрещения* партий? Не требует ли отсутствие и фактически запрещение партий каких-то карательных санкций за создание таковых? Не загоняется ли неизбежное разномыслие внутри лишенного свободы союзов общества? *Не остается ли при запрещении партий (без запрещения они не умрут) единственной легальной партией в стране государственной аппарат с его иерархией?* Не возвращаемся ли мы, надеясь на „внепартийное, вовсе *беспартийное* развитие наций”, к исходной однопартийной ситуации, всегда чреватой тоталом („монопольной легальности” — Ленин — единственной партии)? И так, на *вопросы* Солженицына и мы отвечаем рядом встречных вопросов.

Через 4 года, в 1973 году (год „Письма вождям”), Солженицын развивает свою аргументацию против „многопартийной парламентской системы”. Он пишет:

„Многопартийная парламентская система, которую у нас признают единственно-правильным осуществлением свободы, в иных западно-европейских странах существует уже веками. Но вот в последние десятилетия проступили ее опасные, если не смертельные пороки: когда отсутствие этической основы для партийной борьбы сотрясает сверхдержавы; когда ничтожный перевес крохотной партии между двух больших определяет надолго судьбу народа и даже смежных с ним; когда безграничная свобода дискуссий приводит к разоружению страны перед нависающей опасностью и к капитуляции в непроигранных войнах; когда исторические демократии оказываются бессильны перед кучкою сопливых террористов. Сегодня западные демократии — в политическом кризисе и в духовной растерянности. И сегодня меньше, чем все минувшее столетие, приличествует нам видеть в западной парламентской системе единственный выход для нашей страны. Тем более, что готовность России к такой системе, весьма низкая в 1917 году, могла за эти полвека только снизиться”

(I, стр. 41).

Солженицын здесь весьма зорко (хотя пока еще издали) подмечает несовершенство западной демократии, но делает из своих наблюдений ошибочный, как нам представляется, вывод — что Россия в ее будущем устроении должна выплеснуть из корыта дитя (свободу союзов и пар-

тий) вместе с грязной водой (ее затруднениями, недостатками, болезнями и опасностями). Демократия не запрещает и не исключает активного привнесения этического элемента в деятельность своих союзов и движений всех видов — не преследует и не убивает за это привнесение. Другое дело, что такое привнесение требует колоссального труда. Но если, по Солженицыну, даже тотально несвободные условия не исключают „возможности развиваться к целям нравственным” (I, стр. 41), то тем более не исключают ее условия свободные. Они лишь требуют бессонной работы, цепи ответственных выборов, осознания и внушения другим необходимости „развития к целям нравственным”. Не для этого ли (если верить, что в нашем личном и общем существовании есть высший смысл) и освобождает нас демократия от тирании, от необходимости лгать и — чаще всего — от нужды телесной, заслоняющей для большинства духовные цели? Принципы демократии не содержат структурного, объективного запрета нравственно совершенствовать себя и других. И привлечь к этой трудной, но реальной работе можно многих, но кто этим всерьез занят?

„Ничтожный перевес крохотной партии между двух больших определяет надолго судьбу народа” — это зло. Но означает ли это несомненное, хотя и не неизбежное зло, что определение судьбы народа одним лицом или авторитарной олигархией лучше? Зло коалиционного шантажа маленьких партий мы уже увидели и осознали. Его можно законодательно предупредить: его нет в США или в Швейцарии. При этом неуголовные меньшинства, не представленные в парламентах, не теряют в условиях последовательной демократии права самовыражения. В обстоятельствах же агрессивной несвободы бескомпромиссная верность высоким нравственным принципам может легко стать синонимом конца земного существования диссидента. Даже для верующих — массовый ли это выход?

При гораздо меньшей затрате усилий, чем та, которой требует высокая нравственность в условиях несвободы, можно преодолеть опасную заурядность демократических свобод, лишаящую сегодня демократию жизненных сил и способности противостоять преступности и агрессии.

Но в данной статье Солженицын рассматривает демократию не в ее оптимальных потенциях, а в ее современных угрожающих ее же существованию недостатках. Потрясенный катастрофой российской восьмимесячной демократии — преддверья тотала, удреченный несовершенствами современной западной демократии, ее вероятной неустойчивостью в близящихся испытаниях, Солженицын на

какое-то время обращается мыслью к демократическим формам государственного существования:

„Заметим, что в долгой человеческой истории было не так много демократических республик, а люди веками жили и не всегда хуже. Даже испытывали то пресловутое счастье, иногда названное пасторальным, патриархальным, и не придуманное же литературой. И сохраняли физическое здоровье нации (очевидно так, раз нации не выродились). И сохраняли нравственное здоровье, запечатленное хотя бы в народных фольклорах, в пословицах, — несравненно высшее здоровье, чем выражается сегодня обезьяньими радио-мелодиями, песенками-шлагерами и издевательской рекламой: может ли по ним космический радиослушатель вообразить, что на этой планете уже были — и оставлены позади — Бах, Рембрандт и Данте?

Среди тех государственных форм было много и авторитарных, то есть основанных на подчинении авторитету с разным происхождением и качеством его (понимая термин наиболее широко: от власти, основанной на несомненном авторитете, до авторитета, основанного на несомненной власти). И Россия тоже много веков просуществовала под авторитарной властью нескольких форм — и тоже сохраняла себя и свое здоровье, и не испытала таких самоуничтожений, как в XX веке, и миллионы наших крестьянских предков за десять веков, умирая, не считали, что прожили слишком невыносимую жизнь. Функционирование таких систем во многих государствах целыми веками допускает считать, что в каком-то диапазоне власти они тоже могут быть сносными для жизни людей, но только демократическая республика” (I, стр. 41–42).

К великому сожалению, это рассуждение представляется недостаточно убедительным. Во-первых, объединим с демократической республикой и конституционную, или демократическую, монархию — как режимы в равной степени не противоречащие современному эмансипированному представлению о личном и гражданском достоинстве и гражданских правах. Во-вторых, „сносным” с точки зрения многих его подданных является и сегодняшний советский режим, если не учитывать его прошлого, его — сравнительно с экономически процветающими странами — нищеты, его потенциал, его лживости, того, что он делает в мире, его нетерпимости к инакомыслящим, его воинствующего атеизма — его невыносимости именно для тех людей, которые не могут жить без свободы и правды. Сегодня, после семидесяти лет целенаправленной идеологической и этической обработки, для многих и многих этот режим, в отличие от его экстремально террористических периодов, субъективно выносим или почти выносим. Именно поэтому, считая себя не вправе решать за лояльное конформистское большинство, толкать его в несвойственном для него направлении, не только искатели материального

процветания, но и люди, взыскующие свободы и правды, в какой-то своей части ушли и уходят в эмиграцию.¹

Конец XIX — начало XX века в российской истории Солженицын изучает всю свою жизнь. Другими историческими периодами в пути России и тем более — Запада он в деталях, очевидно, не занимался. Отсюда — доверие к „пасторальной литературе” в отличие от литературы исторической и обличительной. Отсюда забвение страшных феодальных, крестьянских и религиозных, войн и восстаний, сотрясавших в свое время Европу и Россию, забвение массовых исходов крепостного крестьянства в казачество и в Сибирь. Отсюда — слова о „физическом здоровье нации” — тогда как в Европе додемократического периода и смертность была существенно выше, и продолжительность жизни — существенно ниже, чем ныне. И звучат в современном радиопотоке в Европе и США не только „обезьяньи радио-мелодии” и шлягеры, но и классическая музыка (неувядающе популярен тот же Бах и не он один). И есть большие писатели и большие художники. Бежавшие, вытесненные из СССР великие музыканты и большие артисты нашли для себя достойное место на Западе.

Солженицын и сам весьма впечатляюще говорит о пороках авторитарной власти:

„У авторитарных государственных систем при достоинствах устойчивости, преемственности, независимости от политической трясучки, само собой есть свои большие опасности и пороки: опасность ложных авторитетов, насильственное поддержание их, опасность произвольных решений, трудность исправить такие решения, опасность сползания в тиранию. Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем, ни перед чем. Самодержцы прошлых, религиозных, веков при видимой неограниченности власти ощущали свою ответственность перед Богом и собственной совестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обязательные для них высшие ценности”

(I, стр. 42).

„Ответственность перед Богом и собственной совестью” красила ли Людовика XI во Франции, Карла IX — там же — Варфоломеевской ночью, Генриха VIII английского, Ивана IV и многих, многих других? А сегодня и вовсе — что ограничивает неограниченного властителя? Следовательно, сегодня „авторитет, основанный на несомненной власти”, есть не авторитет, а вынужденное подчинение наси-

¹ Об этом прекрасно сказал в своей последней книге „Я унес Россию (апология эмиграции)” Роман Гуль.

лию, не ограниченному ни изнутри, ни извне. „Власть, основанная на несомненном авторитете”, возможна только либо в непредсказуемом случае редкостного совпадения достоинств и положения владетеля, либо при выборных, а значит и конкурентных (ибо депутата из кандидатов единственной партии „выбирают” лишь при тоталитарных режимах) началах. Другой технологии формирования власти, основанной на несомненном — хотя бы для большинства сограждан — авторитете, социальная природа не выработала.

Современное эмансипированное сознание в подавляющем большинстве случаев видит рядом с преемственной монархической властью выборных соправителей. При чистом наследственно-монархическом принципе существует не только опасность несоответствия личных качеств монарха его положению. Ситуацию осложняет и то, что объемы информации, необходимой для удовлетворительного руководства современным обществом, непосильны для одного человека. И Солженицын неопровержимо показывает это в „Узлах” „Красного колеса”, посвященных Николаю II.

Выборная власть сменяема, то есть проверяется каждые несколько лет (оптимальный срок остается спорным) новыми выборами. Ее можно сделать достаточно стабильной и полномочной, но и не бесконтрольной посредством хорошего законодательства. Это во всяком случае реальней, чем предупреждение вне демократических обстоятельств перечисленных Солженицыным возможных пороков власти авторитарной.

Солженицын этой эпохи открыл для себя провиденциальное значение личной нравственности в человеческом и общественном бытии и склонен это значение абсолютизировать. Цель человека и человечества, в его представлении, — нравственный рост, а потому:

„По отношению к истинной земной цели людей (а она не может сводиться к целям животного мира, к одному лишь беспрепятственному существованию) — государственное устройство является условием второстепенным. На эту второстепенность указывает нам Христос: „отдайте кесарево кесарю” — не потому, что каждый кесарь достоин того, а потому что кесарь занимается не главным в нашей жизни.

Главная часть нашей свободы — внутренняя, всегда в нашей воле. Если мы сами отдаем ее на разврат — нам нет людского званья”

(I, стр. 42–43).

В применении к тоталу речь идет, однако, отнюдь не о том кесаре, которого, очевидно, имеет в виду Христос. Тоталитарный кесарь претендует и на Божью долю: он не удовлетворяется частью.

Солженицын не раз говорит об этом, в том числе — и в данной статье.

XX век продемонстрировал нам государственные устройства, уничтожающие своих подданных миллионами: внутренне свободных и несвободных, робких и смелых, нравственных — прежде, чем безнравственных, но и последних — массово, без разбора. По отношению к таким государственным устройствам нельзя сказать, даже мимоходом, обмолвкой, что они являются „условием второстепенным”, если мы не отказываемся от цели *земного* достойного и выносимого существования. Мы уже говорили, что достаточно одной лошадиной дозы связанному человеку инъекции аминазина или галопиридола — и все высочайшие свойства личности растворяются в ее беспамятстве и животных муках. И очнуться ей или не очнуться, выйти на весьма ограниченную советскую или нелегкую зарубежную волю или не выйти — зависит от милости того же государственного устройства, игнорировать которое смертельно опасно. Солженицын, по всей вероятности, имеет в виду не тоталитарного, — ненасытного, претендующего и на души своих рабов, а сравнительно скромного авторитарного, традиционного кесаря, когда говорит:

„И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то может быть — я не утверждаю это, лишь спрашиваю — может быть следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для нее естественней, плавнее, безболезненней? Возражать: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто еще не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным”

(I, стр. 43. Выд. Д. Ш.).

В этом отрывке знаменательны подчеркнутые нами слова: „... я не утверждаю это, лишь спрашиваю”. Значительно позже Солженицын повторит, что он еще не уяснил для себя желательных форм государственного устройства новой России. И нигде не скажет об этом категорически, хотя (мы это увидим) во многих разрозненных его суждениях прорисовывается облик России *свободной*. И еще одно: верно то, что ежели никому не видны ни пути, ни формы динамично — оздоравливающей, доброкачественной, умеренной авторитарности, которая позволила бы своим подопечным существовать благополучно и жить не по лжи, то не более явственны и „реальные пути перехода” от советской тоталитарной стагнации к „де-

мократической республике Западного типа”.

В статье „Мир и насилие” (для газеты „Афтенпостен”, 5.IX.1973 г., стр. 125–133), примыкающей по времени к рассмотренным выше работам, есть исчерпывающее по своей полноте определение Солженицына желательного для него государственного устройства грядущей России. Главная идея статьи состоит в противопоставлении мира не только войне, но и терроризму, и насилию деспотических государств над своими подданными. Солженицын пишет:

„От большого объема и сложности того, что составляет *мир*, решающая борьба за него в современном человечестве происходит далеко не только на конференциях дипломатов или конгрессах профессиональных ораторов со сбором миллионов добрых пожеланий. Самые-то страшные виды немирности протекают без атомных ракет, без морских и воздушных флотов, так *мирно*, что могут восприняться почти как „традиционный народный обычай”. И поэтому *сосуществование* на тесной слитой Земле правильно мыслить как существование не только без войн, этого мало! — но и без насилия: как жить, что говорить, что думать, что знать и чего не знать...”

(I, стр. 130–131. Выд. Д. Ш. Курсив Солженицына).

В подчеркнутых нами словах предложен полный кворум основополагающих признаков демократии: нормальны те обстоятельства, в которых не государство, а человек решает, „как” ему, человеку, „жить, что говорить, что думать, что знать и чего не знать”. И никакой „традиционный народный обычай” не может, по Солженицыну, оправдать отсутствия в общественном и личном существовании человека этих начал. Ссылки одной (свободной) договаривающейся стороны на „традиционный народный обычай”, оправдывающий несвободу другой договаривающейся стороны, здесь выступает как заведомое лицемерие.

В следующем отрывке сказано о том, какое место в общественном бытии отведено государству с его вмешательством:

„Чтобы достичь не короткой отодвижки военной угрозы, а мира действительного, мира по сущности, по здоровой основе своей, — надо против „тихих”, спрятанных видов насилия вести борьбу, никак не менее строго, чем против „громких”. Поставить задачей остановить не только ракеты и пушки, но и границы государственного насилия остановить на том пороге, где кончается необходимость защиты членов общества. Изгнать из человечества самую идею, что кому-то дозволено применять силу вопреки справедливости, праву, взаимной договоренности.

И тогда: служит миру не тот, кто рассчитывает на добродушие насильников, но тот, кто

неподкупно, непреклонно и неутомимо отстаивает права угнетенных, покоренных и убиваемых.

Т а к и е борцы за мир на Западе, сколько я могу судить издали, — тоже есть, и, значит, у них есть аудитория, и это не дает нашим надеждам окончательно затмиться.

Я не компетентен перечислять имена таких людей на Западе. У нас же естественно назвать — Андрея Дмитриевича Сахарова”

(I, стр. 131. Выд. Д. Ш. Разрядка Солженицына)

Солженицын показывает в этой своей статье, что тоталитарное государство не защищает, а уничтожительно насилует своих подданных. Но его беспокоит и тот явный для него еще до изгнания из СССР факт, что современное западное демократическое государство может оказаться неспособным защитить своих подданных от насилия извне, как далеко недостаточно защищает их от собственного преступного мира и терроризма.

Из приведенного выше отрывка следует, что государство должно применять силу лишь согласно „справедливости, праву, взаимной договоренности”. Характерное для Солженицына предпочтение справедливости праву вызывает некоторое опасение: оно приоткрывает возможность для произвольного толкования права. Но если мы вспомним, как часто, судя по прессе, на Западе правоведческое крючкотворство освобождает от ответственности явных и очень опасных преступников, мы придем к выводу (весьма распространенному и в западной печати), что право должно быть приведено (и перманентно приводится) к большему соответствию справедливости. Недаром в русском языке у этих двух слов общий корень.

Солженицынское определение функций нормального и желательного государства вполне соответствует определению такового по Адаму Смит: государственное вмешательство должно защищать от насилия членов общества и делать лишь то, чего общество без его помощи сделать не может. Но Смит, не видевший страшных государств XX века, не акцентирует этической стороны проблемы. Солженицына же устрашает и „демократия, не имеющая никакой обязательной этической основы, демократия, как *борьба интересов* (курсив Солженицына), не выше, чем интересов” (добавим еще: дурно понятых интересов), „борьба по регламенту всего лишь конституции, без этического купола над собой” (I, стр. 129. Выд. Д. Ш.). В другом месте он говорит:

„Блаженный Августин написал однажды: „Что есть государство без справедливости? Бандо разбойников”. Разительную верность та-

кого суждения, я думаю, охотно признают очень многие и сегодня, через 15 веков. Но заметим прием: на государство расширительно перенесено этическое суждение о малой группе лиц.

По нашей человеческой природе мы естественно судим так: обычные индивидуальные человеческие оценки и мерки применяем к более крупным общественным явлениям и ассоциациям людей — вплоть до целой нации и государства. И у разных авторов разных веков можно найти немало таких перенесений.

Однако социальные науки — чем новее, тем строже — запрещают нам такие распространения. Серьезными, научными теперь признаются лишь те исследования обществ и государств, где руководящие приемы — экономический, статистический, демографический, идеологический, двумя разрядами ниже — географический, с подозрительностью — психологический, и уж совсем считается провинциально оценивать государственную жизнь этической шкалой”.

(I, стр. 45. Курсив Солженицына).

Солженицыну же, хорошо знающему роковой опыт своей страны, парадоксальным образом пережившей близкое к нынешнему западному распытию в 1860—1910-х гг., жутко видеть, что общество, добившееся свободы выбора, лишено в значительной своей части этических, да и — в ближайшей перспективе — прагматических критериев целесообразного выбора (I, стр. 130). И он не устает об этом твердить в своих обращениях к Западу.

*

Не так давно (1985) бывшая представительница США в ООН, смелая и проницательная Джин Киркпатрик, издала сборник статей „Диктатура и двойные стандарты”. Речь идет о несовпадении мерок и требований, предъявляемых западным общественным мнением и большинством интеллектуалов Западу и Востоку, правым авторитарным режимам и левым тоталитарным. Требования ничем не урезанной гражданской и личной свободы предъявляются Западу и его авторитарным или полуавторитарным союзникам, в том числе — не на жизнь, а на смерть борющимся за свое выживание. К миру же тоталитарному прилагаются совершенно иные мерки: самые вопиющие ущемления свободы в нем игнорируются или оправдываются какими-нибудь чрезвычайными обстоятельствами, высокой конечной целью, особой ментальностью и другими весьма расплывчатыми причинами. Позиция Дж. Киркпатрик в этом вопросе полностью совпадает с позицией Солженицына, высказанной им неоднократно, хотя бы в статье „Мир и насилие”, в которой после ряда неопровержимых примеров следует вывод:

„Лицемерие многих западных протестов в

том и состоит: протестуют там, где не опасно для жизни, где ожидают отступления оппонента и где не попадешь под осуждение „левых” кругов (желательно протестовать всегда с ними заодно). И таковы же — распространеннейшие ныне формы „нейтралитета” или „неприсоединения”: одной стороне всегда поддакивать и угождать, другую (притом кормящую!) всегда лягать.

До наступления резкого оборотистого XX века одновременное существование двух шкал нравственных оценок в человеке, общественном течении или даже правительственном учреждении называлось *лицемерием*. А как назовем это сегодня?

Неужели этот массовый лицемерный перекося Западу виден только издали, а вблизи не виден?”

(I, стр. 129. Курсив Солженицына).

Виден: пример тому — книга Киркпатрик, и не она одна, но виден немногим, голоса которых заглушены ревом сторонников двойных стандартов, двух шкал.

Солженицыну время от времени приписывается его оппонентами (а зачастую и интервьюерами в их весьма тенденциозных вопросах) стремление распространить отечественную несвободу на свободный мир. В действительности Солженицын предлагает западным архитекторам и сторонникам „разрядки” подходить к внутренней ситуации тоталитарного мира с теми же демократическими мерками, с которыми они подходят к своему обществу и к правым режимам. Настоячивая мысль о необходимости привнесения в западную свободу мощного нравственно-этического начала отнюдь не означает, что Солженицын отказывается от свободы в принципе. Не означает этого и его сомнение в том, что СССР с его нынешним накатом противоречий и привычкой к рабству может без губительных потрясений и потерь сразу шагнуть в не урезанную никем и ничем свободу. Возлагая основные свои надежды на духовное возрождение внутри страны и не ожидая (он не раз это говорил) спасения с Запада, Солженицын все-таки явно и однозначно хочет, чтобы Запад своей политикой (и, прежде всего, в своих собственных интересах) способствовал либерализации внутри тоталитарного мира. В маленьком обращении в газету „Афтенпостен” 25 мая 1974 года (II, стр. 56—57), посвященном в основном защите Г. Суперфина и Е. Эткинда, он повторяет центральные мысли статьи „Мир и насилие”:

„Если в могущественных и динамичных странах насилию нет контроля и границ — это делает совершенно иллюзорными все кажущиеся достижения всемирного мира. Если общечеловечность этих стран не только не может контролировать действия своих правительств, но даже иметь о них мнение, — то все внешние договоры могут быть смахнуты и разорваны

ны в пять минут на рассвете любого дня. Подавление инакомыслящих в Советском Союзе не есть „внутреннее дело“ Советского Союза и не есть просто дальние проявления жестокости, против которых протестуют благородные чуткие люди на Западе. Беспрепятственное подавление инакомыслящих в Восточной Европе создает смертельную реальную угрозу всеобщему миру, подготавливает возможность новой мировой войны гораздо реальнее, чем ее отодвигает торговля”.

(II, стр. 56. Разрядка Солженицына.
Выд. Д. Ш.).

Какой же авторитарный режим, не превращаясь фактически в демократию, может позволить общественности *контролировать свое правительство*? Следовательно, нынешней ситуации в СССР противопоставлен и здесь Солженицыным не авторитарный, а демократический строй. И так бывает всегда, когда, непосредственно или от противного, он описывает общественную ситуацию, которую считает нормальной и хотел бы видеть в своей стране.

Произнеся панегирик „несгибаемому жертвенному духу“ Г. Суперфина, подчеркнув, что при его слабом здоровье заключение грозит ему гибелью, Солженицын заканчивает так:

„Суперфин не признал недоказанного обвинения в том, что он изготовлял „Хронику текущих событий“. Но я предлагаю вдуматься: а если бы изготовлял? Только за *беспристрастное беспартийное фактическое перечисление гонений свободной мысли*, то есть повседневную рутинную обязанность прессы на Западе, человека на Востоке обрекают на смерть! И в этих условиях вершители западной политики полагают, что строят прочный мир?”

(II, стр. 56–57. Курсив Солженицына).

Далее он оценивает, пользуясь западными критериями гражданского поведения, еще одну типичную диссидентскую судьбу:

„Вот профессор Ефим Эткинд. В один день растоптаны четверть века его научной и писательской деятельности, преподавания, воспитания молодежи. На все обширное институтское собрание, чтобы подавить его, достаточно загромождать гробовой „Справки из КГБ“ (сравните эту обстановку с любым западным университетом!). „Справка“ ссылается на „протоколы допросов КГБ“, — но кто когда-либо докажет подлинность единого листа этих протоколов, если КГБ не затрудняется подделывать даже документы свободного внешнего обращения (я недавно дал пример в журнале „Тайм“)? Воронянская не могла добровольно и со смыслом показать, что Эткинд¹ в 1971 году получил на хранение два экземпляра „Архипелага“, по той простой причине, что, закончен-

ная тремя годами раньше, книга с тех пор покоилась безо всякого движения. Но допустим и тут самое ужасное: что Эткинд касался пальцами прежде или прочел сегодня эту непростительную книгу, повествующую опять-таки о гибели миллионов невинных. В сегодняшнем Советском Союзе это считается достаточным официальным основанием, чтобы человека растоптать. И в этом случае многочисленные западные оптимисты снова поспешат с заявлением, что и эта расправа „нисколько не нарушает“ международную разрядку?”

(II, стр. 57. Курсив Солженицына).

Каждым словом этой статьи Солженицын требует распространения на Восток принципов западной свободы самовыражения, западных критериев нормального права.

Весь целиком погруженный в оставшееся за спиной, Солженицын в очередной раз постулирует неделимость мировых судеб и формулирует одну из излюбленных своих параллелей: разрядка — Мюнхен.

„Но нельзя превращать разрядку напряженности в растянутый поступенчатый Мюнхен. Сегодня хрустят и аши косточки — это верный залог, что завтра будут хрустеть в аши”.

Мои предупреждения исходят из многолетнего советского опыта, вся жизнь моя была посвящена изучению этой системы. От кого зависят судьбы Запада, могут и сегодня пренебречь моими предупреждениями. Они вспомнят их, когда ключок вот этого листа „Афтенпостен“ нельзя будет достать иначе, как под угрозой тюремного срока”

(II, стр. 57. Разрядка Солженицына).

В том-то и дело, что судьбы Запада зависят не от узкого круга правителей, а от всех граждан, и в первую очередь от тех, кто формулирует западное общественное мнение. Роль их, как никогда, велика. Они же, в массе своей, слышат лишь то, что хотят услышать, и это же ретранслируют обществу.

*

Основа демократии — свобода печати, и мы уже много писали об отношении Солженицына к свободе печати в бытность его на родине: он требовал ее как правило, безоговорочно, только в „Письме к вождям“, изначально построенном на компромиссах, соглашаясь на свободу лишь для *неполитической* литературы. Но пребывание его на Западе в первый же день ознаменовалось конфликтом с прессой: он отказался говорить с ее представителями. Один глубоко уважаемый мной и близкий мне по убеждениям человек писал мне не так давно по этому поводу: „Ему было *нечего* сказать! Каждый из нас был бы счастлив прорваться к микрофонам, но нам их к нашему рту не

протягивали. А ему нечего сказать! Не ссылайтесь на то, что он *потом* говорил, *момент* был упущен. Он сделал хуже, чем молчал, он просто гнал журналистов, накидывался на них. Они могут быть назойливыми, но все же... Был уже сразу создан определенный образ, подтвержденный Гарвардской речью...” (Выд. автором письма).

О Гарвардской речи — позже, а пока я все же сошлюсь „на то, что он *потом* говорил”. Вся моя книга — о том, что он *до этого* и *потом* говорил: микрофоны остались у его рта, и он многократно ими воспользовался. Может быть, более удачной тактикой был бы выразительный монолог на уровне лучших речей Солженицына сразу по прилете. Тогда не возникли бы в первые же часы его пребывания вне СССР негативные, с точки зрения либеральной элиты свободного мира, его „media” и некоторых россиян на Западе, штрихи в его образе. Но он *не смог* произнести этот монолог, не переведя дыхания после переброски „Лефортово — Франкфурт-на-Майне”. Да и слишком безопасной и оттого недостаточно веской, непривычно облегченной для говорящего показалась ему, быть может, первая возможная речь на ветру изгнания. Я приведу пространные выдержки из двух документов, в которых Солженицын говорит об этой короткой и неожиданной для всех немоте. Первый из них — „Бодался теленок с дубом”, где сказано:

„Вечером, в маленькой деревушке Белля мы пробирались меж двух рядов корреспондентских автомобилей, уже уставленных вдоль узких улочек. Под фотовспышками вскочили в дом, до ночи и потом с утра слышали гомон корреспондентов под домом. Милый Генрих развалил свою работу, бедняга, распахнул мне гостеприимство. Утром, как объяснили мне, неизбежно выйти, стать добычей фотографов — и что-то сказать.

Сказать? Всю жизнь я мучился невозможностью громко говорить правду. Вся моя жизнь состояла в прорезании к этой открытой публичной правде. И вот, наконец, я стал свободен как никогда, без топора над головой, и десятки микрофонов крупнейших всемирных агентств были протянуты к моему рту — говори! и даже неестественно не говорить! сейчас можно сделать самые важные заявления — и их разнесут, разнесут, разнесут — ...А внутри меня что-то пресекалось. От быстроты пересадки, не успев даже в себе разобраться, не то что подготовиться говорить? И это. Но больше — вдруг показалось малодостойно: браниться из безопасности, там говорить, где и все говорят, где дозволено. И вышло из меня само:

— Я — достаточно говорил, пока был в Советском Союзе. А теперь — помолчу.

И сейчас, отдала, думаю: это — правильно вышло, чувство — не обмануло. (И когда потом семья уже приехала в Цюрих, и опять рвались корреспонденты, полагая, что уж теперь-то, совсем ничего не боясь, я сказану, — опять

¹ Эткинд со временем припечатает Солженицыну, как пощечину, кличку аяллы.

ничего не состраивалось, нечего было объявить.)

Помолчу — я имел в виду помолчать перед микрофонами, а свое состояние в Европе я уже с первых часов, с первых минут понял как действительность, нестесненную наконец: 27 лет писал я в стол, сколько ни печатай издали — не делаешь, как надо. Только теперь я могу живо и бережно убрать свой урожай. Для меня было главное: из левфортовской смерти выпустили печатать книги.

А у нас там в России, мое заявление могло быть истолковано и загадочно: да как же это — *помолчу*? за столько стиснутых глоток — как же можно молчать? Д л я н и х, там, главное было — насилие, надо мной совершенное, над ними совершаемое, а я — молчу?

...Так и среди близких людей разность жизненной встряски даже за сутки может родить разнопонимание"

(III, стр. 478–479. Курсив и разрядка Солженицына).

И тем более — среди неблизких. Это было в феврале 1974 года. А уже в марте начались короткие печатные выступления и затем интервью, в одном из которых (II, стр. 58–80; 17.VI.74) корреспондент телекомпании CBS Уолтер задает Солженицыну прямой вопрос:

„— Хотелось бы знать Ваше мнение о западных средствах получать и передавать информацию, как оно сложилось после Вашей высылки.

— Ну, что сказать? Надо сразу сказать: западная пресса помогла мне, Сахарову, всем нам выстоять годами, а особенно помогла в августе — сентябре прошлого года. Так что я, конечно, могу быть западной прессе только благодарен. Но свежими глазами иногда можно увидеть то, чего люди, живущие постоянно, — не видят. Вот, я с этим кусочком хлеба, из Левфортово, из последнего недоеденного левфортовского обеда, внезапно приезжаю в Западную Европу, еще три часа назад я ожидал расстрела, три часа назад. Вдруг мне объявляют, что я высылкаюсь, — куда? — и неожиданно во Франкфурте-на-Майне высаживают. И почти с этого момента начинается штурм, западная пресса обрушивается на меня. Я еще не могу в голове вместить того, что произошло, я содроган происшедшим, я не имею расположения что-либо заявлять. А они требуют, чтоб я высказывался, будто я приехал с готовыми высказываниями. Я нахожусь на единственную фразу, что я „достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу“. Но вот день за днем пресса от меня не отстает, она преследует меня повсюду: дежурит около дома Белля, потом около дома адвоката, в осаде я нахожусь. Хочу выйти, хоть подышать, хоть ночью, когда никого нет. Выхожу на задний балкон, где корреспондентов нет, — вдруг два прожектора, вот таких вот прожектора на меня, и фотографируют, ночью! Я иду со спутниками, разговариваю, подсовывают микрофон, несколько микрофонов, узнать — что я говорю своим спутникам? и передать своим агентствам, — ну, я в такую минуту раздосадовался, говорю: „да вы хуже кагебистов!“ — подхватили! первое высказывание: Солженицын приехал на Запад и заявил: „Западная пресса хуже КГБ“, — как будто я

собрал прессконференцию и так заявил. Я думал, скажу: „Господа, поймите, я сейчас не в состоянии с вами разговаривать, дайте мне отдышаться, я хочу побыть один“, — и оставят в покое. Нет! И это потом продолжалось долго, когда я ездил в Норвегию, когда вернулся, когда приехала моя семья, семья приехала бессонная, измученная, — нет, позируйте, выходите, позируйте нам! Отказались. Тогда прорвались тут, вокруг нашего дома, топчут все, что соседи насадили, как стадо бизонов, — чтобы что-нибудь сфотографировать. Им говорю: „Ну почему так? раз я вас прошу: я сейчас не буду говорить; пожалуйста, оставьте нас“. Отвечают, милые молодые люди, откровенно: „Никак не можем. Нам приказано, если мы не выполним, нас уволят“. Знаете, вот это очень скользкая, опасная формулировка: если я не выполню — меня уволят. Так это сейчас любой угнетатель в Советском Союзе скажет: а я выполняю приказ, а если я не выполняю — меня уволят. Видите, каждая профессия, если она начинает разрушать нравственные нормы жизни, должна сама себя ограничить. Действительно, западную прессу здесь не связывает, не останавливает ничто, никакая полиция, ни власти. Ну, тогда надо ограничить самим себя. Надо сказать: вот тут есть порог, нравственный, вот сейчас нужно отказаться. Всякие достоинства, если предела им не поставить, если не ограничить, переходят в недостатки"

(II, стр. 59–60).

На мой взгляд, этот отрывок вполне содержательно объясняет, почему Солженицын, а затем и его семья не поддались первому натиску средств массовой информации, ограничили свое общение с ними и в будущем и тем отвоевали для себя необходимую возможность работы и частной жизни. Но важно здесь и другое: Солженицын предьявляет свободной прессе то же требование, что и всему свободному обществу, — уметь остановиться в своей не ограниченной извне раскрепощенности на некоей нравственной границе, указанной изнутри, собственной этикой, собственным уважением к чужой свободе, к чужому праву (в данном случае — к праву на отказ от публичности).

Наши недостатки суть продолжения наших достоинств — эта старая истина прилагается Солженицыным к его новой (и неожиданной) среде обитания — к западной демократии.

Ни жажда свободы, ни стремление к неограниченной гласности, ни любознательность, ни тяга к достатку, комфорту, покою и развлечениям — никакие естественные и даже возвышающие устремления человека и общества не должны игнорировать той нравственной границы, за которой достоинства превращаются в недостатки, начинают действовать разрушительно — как в этической, так и в прагматической плоскости.

Такова моральная максима Солженицына, и ею он хотел бы ограничить грядущую свободу в своей стране, если ког-

да-нибудь его родина обретет эту свободу. В опыте России конца XIX — начала XX столетия он видит грозный урок для Запада, а опыт Запада хотел бы превратить в школу будущего для раскрепощенной России.

Но в эти первые месяцы пребывания на свободе Солженицына ошеломляет не только бесцеремонность наступления средств массовой информации на его творческую и частную жизнь, которая представляется прессе общественным достоянием. Его поражает контраст между поведением большинства западных журналистов в свободном мире и в тоталитарных „больших зонах“. Агрессивных и независимых добывателей новостей при пересечении ими тоталитарного мира словно бы подменяют: откуда берутся смирение и угодливость, естественные, казалось бы, только в „рабах по рождению“ (II, стр. 61)? Из солженицынской оценки поведения западной прессы в ее метрополиях и в восточных командировках возникает в его изложении куда более широкая мысль — о пружинах поведения лиц и народов на свободе и в рабстве, но в рабстве настоящем, обеспеченном колоссальным репрессивным и пропагандно-дезинформационным потенциалом, не мнимом, не половинчатом. Люди массами попадают в ловушку — по стечению ряда обстоятельств и роковых заблуждений, не исключенных ни для одного народа, а попав, усваивают катастрофически быстро требуемую ловушкой мораль и манеру поведения, после чего сторонние, да и некоторые внутренние наблюдатели отождествляют народ с ловушкой, уродующей его бытие.

Такое отождествление напрашивается само собой, потому что некоторая часть народа образует человеческую субстанцию этой ловушки.

Но отождествлять с ловушкой *весь* народ и *только* данный народ нельзя: в разных странах у разных народов процесс развивается аналогично. Вдумаемся в следующие рассуждения Солженицына:

„Хорошо. Можно было бы даже восхититься: как западная пресса в натиске таком — добыть истину — ничего не жалеет: ни себя, ни других, ну, как военные корреспонденты, лезут под самый обстрел, пусть меня убьют, но я сейчас сфотографирую и что-то такое сообщу. Но вот странное явление: оказывается, западная пресса далеко не всегда так необузданно стремится к истине. Я наблюдал эту же самую прессу у нас в Москве, да так и везде в Восточной Европе, и в Китае особенно. Вот поразительно: там западная пресса совершенно меняется. К счастью, не все, есть замечательные исключения, есть великолепные корреспонденты, которые себя не щадят, так их обычно и выслаивают. А большинство? — а большинство вдруг становятся такими скромными, такими осторожными, такими осмотрительными.

Но посмотрите, тут уже мы выходим за пределы прессы, это гораздо шире вопрос: вот мы советские люди, — мы рабы по рождению, мы рождены в рабстве, нам очень трудно освободиться, но каким-то порывом мы пытаемся подняться. А вот приезжает независимый западный человек, привыкший к полной свободе, — и вдруг мгновенно, без необходимости, без подлинной опасности, усваивает дух подчинения и становится добровольно рабом. Вот это страшно. Когда задают вопрос: „Да как это может быть, неужели свободные народы, попав под угнетение, вот как Восточная Европа, могут так быстро стать в рабское положение?“ Конечно. Если свободный корреспондент, который ничем не рискует, кроме того что ему разобьют ветровое стекло машины или вышлют из Москвы, ведет себя рабски? — конечно. Но отсюда другой страшный вывод: две стороны Земли по-разному освещены, ну так, как вот Солнце освещает: половина Земли всегда под солнцем, а половина Земли — ночь, в тени. Вот так и информация освещает наш земной шар. Половина Земли, Запад — под ярким солнцем, видно все насквозь, обо всем сообщает западная пресса, западные парламентарии, любой общественный деятель, сами государственные деятели отчитываются, — и советская, китайская, восточноевропейская разведка тоже прощупывает и проходит Запад насквозь, она видит все, что хочет, очень легко, она знает, что ее разведчикам даже ничего не грозит на Западе. Почему я, допустим, мог там, у себя, составить какое-то мнение о Западе, и вот оно, вроде, не ошибочно? — да потому что Запад весь освещен, о Западе все решительно напечатано, написано, говорится. И почему советологи, так называемые, почему они с таким трудом, и так часто ошибочно судят о Востоке? Потому что Восток погружен в темноту. О Востоке западная пресса, которая туда приезжает, не дает сколько-нибудь серьезной информации. Если бы каждый корреспондент говорил так: я голову свою положу, пусть мне голову отрубят, но я одно известие, точное, важное, сообщу. Тогда хоть иногда бы что-то важное проходило. Но если каждый, почти каждый корреспондент дает поверхностные, скучные вещи, сидит, обрабатывает советскую прессу, из нее что-то возьмет, на поверхности, а иногда и прямой обман, — откуда иметь информацию о Востоке? Еще можно было бы от нашей прессы? — ну, тут смешно говорить. Наш парламент? — смешно говорить. Были бы в нашей стране свободные общественные дискуссии — так они и задушиваются в нас в первую очередь”

(II, стр. 60, 61, 62).

И опять здесь речь идет не о распространении восточной ситуации на Запад, а о распространении *нравственно откорректированной* западной ситуации на Восток. Солженицын говорит здесь о мужестве (или хотя бы принципиальности, ибо мужество для этого западному корреспонденту требуется *чаще всего* небольшое: не побояться быть высланным), оставаться самим собой перед лицом деспотических чужих правительств, без сантиментов к их деспотизму. Здесь для себя под-

разумеваются желательными *свободная пресса, дееспособный парламент, нефальсифицированные свободные дискуссии*, а не рабство — для Запада. Но интервьюер не воспринимает многообразия мыслей писателя. Он озабочен одним: не хочет ли Солженицын всем этим сказать, что ему „не нравится свобода прессы“? И получает прямой ответ:

„Не только не критикую свободу прессы, наоборот, я считаю это величайшим благом, что она такая на Западе! Но я вот о чем: с одной стороны, не только пресса, но и всякая профессия, но и всякий человек должен уметь пользоваться своей свободой и сам себе находить остановку, нравственный предел. А с другой стороны, я настаиваю, что если пресса имеет такую свободу на Западе, то она должна отстаивать свою свободу, когда попадает на Восток. Какие бы на Востоке условия ни были, но если пресса привыкла к свободе — осуществляйте свободу и там. Тогда не будет таких поверхностных суждений, не будет так трудно объяснять советские поступки или предсказывать их, а ведь почти всегда ошибаются в предсказаниях, придумывают какие-то невероятные объяснения, будто бы в Кремле идет борьба „правых и левых“, и вот этой борьбой все объясняют. Когда Сахарова и меня травил и вдруг кончили, в один день как оборвало, многие на Западе написали: „Почему остановилась травля? Загадка! Это, наверное, борьба правых и левых“. И не скажут самого простого: что и с п у г а л и с ь в ЦК и „правые“ и „левые“, а их и нет там никаких правых и левых. И никакой загадки нет. Западная пресса вместе с нами, западная общественность вместе с нами, — мы вот стали т а к крепко — и струсили просто в ЦК, струсили и отступили. И так они всякий раз отступают перед всеобщей единой твердостью”

(II, стр. 63. Разрядка Солженицына. Выд. Д. III.).

После исчерпывающих обоснований Солженицыным его тезиса об односторонности и ненадежном характере разрядки, игнорирующей насильственную политику Кремля внутри СССР, корреспондент задает вопрос, оставляющий впечатление, что он не слышал всего сказанного перед этим (или не в состоянии на ходу изменить запланированное течение интервью):

„Почему Вы думаете, что разрядка напряженности не помогает положению в Вашей стране?“

(II, стр. 72).

И Солженицын снова, терпеливо, как дитяти, втолковывает, что внутреннего положения в СССР разрядка не изменила и изменить не может — при своем нынешнем характере. Есть один успех: расширение права на эмиграцию, которой Запад занимается, так сказать, прицельно (заметим, что вскоре была свернута и

эмиграция). Солженицын повторяет свои доводы: если правительство совершенно неподконтрольно народу, если оно не выполняет собственных законов внутри своей страны, наглухо закрытой от мира, то нет никаких гарантий того, что оно будет выполнять условия внешних договоров. Контроля за этим ни извне, ни изнутри нет. Прессы и гласности тоже нет. Парламента в западном смысле слова нет. Западная пресса в советские дела по-настоящему не вникает и вникнуть не может. Остается доверие?

„Какое ж доверие можно оказать правительству, которое собственной конституции никогда не выполняло, и ни одного закона у себя в стране? Нарушает любой закон — какое может быть доверие? Доверия тоже нет. Договора заключаются, но они ничего не весят и не значат. В любое утро можно их порвать. Ах, торговля?.. А что ж торговля? от чего она оберегает? Да, пока нужно, пока выгодно — торговля идет. В тот день, когда мы получим то, что нам нужно, тонкую технику получим, — ну и нет этой торговли, как когда-то русские государственные займы — не платило советское правительство? не платило: нету — и все, конец. Торговлю можно пресечь в один день. И когда ваши бизнесмены в согласии с нашими вождями, в союзе с нашими вождями говорят, что торговля обеспечивает мир, — так это просто ребенку видно, что — нет. Она ничего не обеспечивает. Наоборот: торговля течет, пока есть мир. А в любой день на рассвете вы можете проснуться и узнать, что договора разорваны и торговли тоже нет. Не будет общественных предупреждений, признаков, дебатов, запросов, ничего не будет, а сразу проснетесь — нет договора и мира нет”

(II, стр. 73).

Из этого делается отчетливый вывод: только соответствующие изменения в Советском Союзе, снимающие все перечисленные условия полной неподконтрольности советского правительства своему обществу и внешним партнерам, могут превратить разрядку в реальность:

„Вот почему, когда вы защищаете свободомыслие в Советском Союзе, то вы не просто делаете доброе дело, но обеспечиваете собственную безопасность завтрашнего дня, вы помогаете сохранить у нас предупреждающие голоса, обсуждающие, что происходит в стране, — и если их будет не десять, как сейчас, а тысяча, а несколько тысяч, — вас бы не ждали неожиданности. Вот почему преследование диссидентов в нашей стране есть величайшая угроза для вашей”

(II, стр. 73–74).

Заметим, что свободомыслие в Советском Союзе и диссиденты („предупреждающие голоса, обсуждающие, что происходит в стране“) защищаются здесь без какой бы то ни было мировоззренческой избирательности.

В предыдущей главе, говоря о „Пись-

ме вождам”, мы приводили ответ Солженицына Кронкайту на вопрос о том, оканчивается ли он предпочтение авторитарной системе перед демократической. Солженицын тогда сказал:

„Я обращался к вождам, которые власти не отдадут добровольно, и я им не предлагаю: „отдайте добровольно!” — это было бы утопично. Я искал путь, не можем ли мы у нас в России найти способ сейчас смягчить авторитарную систему, оставить авторитарную, но смягчить ее, сделать более человеческой. Так вот: для России сегодня еще одна революция была бы страшнее прошлой, чем 17-й год, столько вырежут людей и уничтожат производительных сил. У нас в России — другого выхода нет сейчас, так я понимаю. Но это не значит, что я в общем виде считаю, что авторитарная система должна быть везде, и лучше она, чем демократическая”

(II, стр. 76).

Это последнее замечание Солженицына, как, впрочем, и многие другие его высказывания, игнорируется настолько упорно, что широко известный и весьма остроумный романист лихо изображает его не только воинствующим монархистом, но и маниакально целеустремленным претендентом на вакантный российский престол, а затем и тираническим монархом. И солидные уважаемые издания охотно публикуют этот прозрачный и одновременно лживый памфлет. Между тем, в этом же интервью Солженицын приводит пример демократии, которая привлекает его многими своими чертами. Он говорит:

„Сейчас я приехал в Швейцарию, конкретно, и должен вам сказать — нисколько я не снимаю своей критики западных демократий, но должен сделать поправку на швейцарскую демократию. Поправку, ну, Швейцария маленькая страна, издали не присмотришься так внимательно, что здесь делается. Вот, швейцарская демократия, поразительные черты. Первое: совершенно бесшумная, работает, ее не слышно. Второе: устойчивость. Никакая партия, никакой профсоюз забастовкой, резким движением, голосованием не могут здесь сотрясти систему, вызвать переворот, отставку правительства, — нет, устойчивая система. Третье: опрокинутая пирамида, то есть власть на местах, в общине, больше, чем в кантонах, а в кантоне — больше, чем у правительства. Это поразительно устойчиво. Потом — демократия всеобщей ответственности. Каждый лучше умерит свои требования, чем будет сотрясать конституцию. Настолько высока ответственность здесь, у швейцарцев, что нет попытки какой-то группы захватить себе кусок, а остальных раздвинуть, понимаете? И потом, национальная проблема, посмотрите, как решена. Три нации, даже четыре, и столько же языков. Нет одного государственного языка, нет подавления нации наций, и так идет уже столетиями, и все стоит. Конечно, можно только восхититься такой демократией. Но ни Вы, ни они, ни я не скажем: давайте швейцарскую демократию распростра-

ним на весь мир, на Россию, на Соединенные Штаты. Не выйдет. В крупных странах, в Соединенных Штатах, в Англии, во Франции демократия, конечно, не такая, и она идет не к этой устойчивости, а от нее”

«II, стр. 76–77. Разрядка Солженицына».

А. П. Федосеев в своей книге „О новой России. Альтернатива” (ОРИ, Лондон, 1980) предлагает интересный, хотя в деталях спорный проект перенесения основных черт швейцарского конституционного устройства в будущую Россию.¹ Солженицын не входит в этот вопрос специально, но в первом приближении считает швейцарскую ситуацию не подходящей для крупных стран. Вместе с тем его особенно привлекает швейцарский способ решения национальной проблемы, безусловно демократический. И еще пленяет его бесшумное самовоспроизводство швейцарской демократии, ее сбалансированность и устойчивость.

Описывая эту первую увиденную им вблизи демократию, Солженицын выделяет в качестве ее основных достоинств стабильность режима и способность граждан и их объединений к самоограничению, к некоторому самостеснению ради интересов других сограждан (все та же забота об этических критериях свободного поведения).

Переходя к ситуации в больших западных странах, Солженицын размышляет — как о главной опасности — о неустойчивости их режимов. Он много и тепло говорит в этом интервью о роли США в мире, о национальном характере американцев, близком, по его мнению, к русскому национальному характеру, с горечью упоминает о неблагодарности мира по отношению к США; он говорит о симпатии к Америке безгласного русского народа, о надежде избежать ядерной войны и — с опасением — о больших внутренних и внешних потрясениях, ожидающих СССР и США.

В ходе беседы Кронкайт задает Солженицыну вопрос, из которого следует (еще до ответа), что Солженицын не признает за американской демократией никаких достоинств. Следует возражение:

„Во-первых, неверно, что я не заметил хороших сторон американской демократии. Я очень

много хороших сторон заметил. Но когда мы разговариваем с Вами, или публично, то без конца хвалить друг друга — что ж наполнять этим время? Хотя и видней нам ваши обстоятельства, чем вам наши, но серьезно говорить об американских делах я не готов сейчас, с Вами. Для этого я должен был бы поехать в Соединенные Штаты, пожить там хотя бы год, посмотреть, тогда я буду с Вами разговаривать конкретно. Я сказал лишь в общих словах, что в необузданном размахе страстей — большая опасность для демократий. Особенно, когда правительства почти везде неустойчивы: один-два-три голоса решают направление целой политики, какая партия придет к власти. То есть, буквально, половина страны — за, половина — против, и вот чуть-чуть-чуть перевешивает, да? Решаются важнейшие вопросы, таким вот образом? Это, как хотите, с точки зрения физики — не стабильно. Не стабильно”

(II, стр. 77).

Солженицын боится „необузданного размаха страстей” подданных демократии, опасается ее неустойчивости, то есть хочет видеть ее способной управлять своими страстями и стабильной. Уже одно это не позволяет считать Солженицына принципиальным противником демократии, потому что *злу стабильности не желают*.

На прессконференции о сборнике „Изпод глыб” (16.XI.1974; II, стр. 90–121), о которой мы уже говорили, тоже есть четкое перечисление основ существования, желательного для Солженицына на его родине:

„Андрей Дмитриевич Сахаров недавно сказал, что эмиграция есть первая среди равных свобод — из свобод первая. Я никогда с этим не соглашусь. Я просто не понимаю, почему право уехать или бежать важнее права стоять, иметь свободу совести, свободу слова и свободу печати у себя на месте. Никогда не признаю этого.

...И когда Сахаров говорит: „Я подчеркиваю, что я также за свободный выезд литовцев, украинцев”, — то я ушами литовцев и украинцев слушаю и скажу: по-моему, литовцам и украинцам хочется остаться у себя на родине и иметь ее свободной, а не уехать куда-то и мыкать горе десятилетиями”

(II, стр. 112).

При этом он не затрагивает вопроса о республиканской или монархической форме правления. Сделаю небольшое отступление. Солженицын считает несчастьем для России не только „октябрьский переворот Ленина и Троцкого против слабой русской демократии” — переворот, который он не раз называет „бандитским”, но и февральскую революцию, создавшую недееспособную власть. Судя по его эпосе, в которой он пристально внимателен к этой проблеме, он, с высоты своего сегодняшнего опыта, желал бы для России начала XX века продолжения развития в рамках монархии, более от-

¹ Швейцарская демократия не раз себя запятнала, гиперболизируя свой нейтралитет: во времена нацизма — закрытием своих границ перед беженцами; в 1980-х гг. — отношением к интернированным афганским военнопленным — бывшим советским солдатам; в 1986 году — выдачей польского невозвращенца. Но это не отменяет положительных черт ее конституционного устройства и связано с неполноценностью мировоззрения ее политиков.

ветственной, более прозорливой, более динамичной и волевой, чем правление Николая II. В публицистике же он говорит об этом редко, никогда не пытаясь, вопреки утверждениям его недобросовестных оппонентов, единолично предпринимать за Россию будущего конкретные формы ее свободного существования. Но несколько высказываний о российской монархии в его публицистике есть. Так, в письме из Америки в редакцию „Вестника РХД” (июль 1975, II, стр. 214–225) Солженицын, в частности, замечает:

„Ближе к истине укоряют Зарубежную церковь, что она настаивает на неразрывной (и неестественной) связи своей с государством — бывшим российским и будущим, мыслимым лишь как прямое восстановление бывшего. Здесь накладывается демонстративная, за полстолетия уже и чересчурная, преданность Зарубежной церкви — династии Романовых, даже и той ветви ее, чей родоначальник с красным бантом приветствовал февральскую революцию. (Свидетельствую для тех, кто так исповедует: среди сегодняшнего реального русского народа в СССР такие претензии могут вызвать насмешку. Не Россия отреклась от Романовых, но братья Николай и Михаил отреклись от нее за всех Романовых — в три дня, от первых уличных беспорядков в одном городе, не попытавшись даже бороться, предавши всех — миллионное офицерство! — кто им присягал.)”

(II, стр. 221).

Итак, для Солженицына будущая Россия мыслится отнюдь не как „прямое восстановление бывшего”, а его отношение к мученически погибшим Николаю и Михаилу Романовым далеко от идеализации.

Тот же мотив звучит и в беседе с Н. Струве 30 сентября 1984 года в Вермонте. Приведу соответствующий отрывок:

„Н. С.: В „Октябре”, пожалуй, больше, чем в „Августе”, ощущается полифоничность романа. Поражает читателя Ваш огромный труд по овладению материалом, Ваш охват. В „Октябре” представлены все слои населения и затронуты многие коренные вопросы исторического бытия. В какой мере „Октябрь Шестнадцатого” помогает ответить на вопрос, который всегда и сам себе задаешь и Вам задают: почему случилась революция, кто виноват? Полифоничность создает впечатление, что виноваты все.

А. С.: Полифоничность, для меня, метод обязательный для большого повествования. Я его придерживаюсь всегда и буду придерживаться всегда. Я не сторонник избирать, считаю это вредным, любимого героя, и главным образом через него проводить свои главные мысли. Я считаю своей первой задачей привести разнообразие мыслей, поступков и действий самых разных слоев, вот в описываемый момент. И при этом, действительно, когда представят все точки зрения, то на вопрос: „кто виноват?” очень расплывается ответ. Да, виноваты все, Вы правильно сказали. Но, строго говоря, ви-

новаты всегда больше правящие, чем кто бы то ни было. Конечно, виноваты все, включая простой народ, который легко поддавался на эту дешевую заразу, на дешевый обман, и кинулся грабить, убивать, кинулся в эту кровавую пляску. Но все-таки более всех виноваты, конечно, правящие, потому что на них лежит историческая ответственность, они вели страну, и если они даже лично виноваты не больше других, то они виноваты, как правящие, больше других.

Н. С.: Да, в „Октябре” царю и, в частности, царице достается довольно круто.

А. С.: Конечно, круто. При всем том, что у них не было злых намерений. Но не было и полного сознания ответственности, не было адекватности той ответственности, которая на них лежала”

(„ВРХД” № 145, 1985, стр. 190, 191).

Задолго до этого, в письме тогдашнему главному идеологу КПСС М. А. Суслову 14.X.1970 г. (III, стр. 544–545), Солженицын писал: „... роман „Август четырнадцатого”... представляет детальный военный разбор „самсоновской катастрофы” 1914 года, где самоотверженные и лучшие усилия русских солдат и офицеров были обесмыслены и погублены параличом царского военного командования”. Этот тезис „детального военного разбора” событий 1914 года остался центральным и в полном свободном зарубежном издании „Августа четырнадцатого”.

Все это, конечно же, ничего не говорит ни о принципиально положительном, ни о принципиально отрицательном отношении Солженицына к монархическому способу общественной организации как таковому. Речь идет лишь о данном конкретном царствовании. Ясно одно: монархическую или республиканскую Россию будущего Солженицын хочет видеть нравственно здоровой, стабильной и обладающей кворумом основных гражданских и личных свобод.

Итак, построение желательного образа общественного и личного существования от противного — от характеристики того, что существует в тоталитарном мире и неприемлемо для Солженицына, возникает в его статьях и речах неоднократно. Есть оно и в двух его больших выступлениях перед представителями американских профсоюзов АФТ — КПП (Американская Федерация Труда — Конгресс Производственных Профсоюзов) в Вашингтоне (30.VI.75; I, стр. 206–230) и в Нью-Йорке (9.VII.1975; I, стр. 231–255).

*

У некоторых посясторонних, эмигрантских, оппонентов Солженицына (трудно их, впрочем, назвать оппонентами, потому что спорят они как правило с

ими же и сконструированным образом Солженицына) встречается утверждение, что Солженицын работает на московский Кремль, непрерывно дискредитируя Запад и демократию в глазах своих отечественных и западных читателей. Недавно одним из таких ругателей он был даже причислен к „пятой колонне” СССР на Западе (для того, мол, и выслан). Трудно себе представить более полное несоответствие истине.

Обе вышеупомянутые речи относятся ко многим примерам того, как Солженицын пытается вооружить и усилить наивный Запад правильным пониманием советского феномена. К этому лейтмотиву его публицистики мы еще вернемся. Пока же отметим еще раз, какие черты советской тоталитарной системы делают ее, по Солженицыну, глобально опасным явлением, что нужно для того, чтобы эта опасность исчезла, чтобы СССР сделался нормальным партнером для переговоров. Вдумаемся в следующие слова Солженицына о советской системе, произнесенные им в Вашингтоне — не в узком кругу единомышленников соотечественников, а перед лицом демократической Америки, в которой он видит единственного равносильного антагониста кремлевской мафии — антагониста, на самом деле, к несчастью, всегда готового проглотить (и уже глотающего) советскую наживку:

„Это система, где сорок лет не было настоящих выборов, но идет спектакль, комедия. Стало быть система, где нет законодательных органов. Это система, где нет независимой прессы, система, где нет независимых судебных органов, где народ не имеет никакого влияния ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику; где подавляется всякая мысль не такая, как государственная.

...Так что же из этого всего? Разрядка — нужна или нет? Не только нужна. Она нужна как воздух. Это единственное спасение Земли, чтобы вместо мировой войны произошла разрядка. Но разрядка истинная, и если ее уже испортили плохим словом, которое у нас разрядка, а у вас детант, так может быть надо найти другое слово. Я бы сказал, что даже можно очень мало признаков, главных признаков назвать для такой истинной разрядки. Я бы сказал, что почти достаточно трех главных признаков. Первый признак: чтобы разоружиться не только от войны, но и от насилия, чтобы не осталось аппарата не только войны, но и насилия, то есть не только того оружия, которым уничтожают соседей, но и того оружия, которым дают соотечественников. (апл.) Это не разрядка, если мы сегодня здесь с вами можем приятно проводить время, а там стонут люди и погибают, и в психиатрических домах вечерний обход, и третий раз в день колют лекарство, разрушающее мозг и человека. А второй признак разрядки я бы назвал такой: чтоб это было не на улыбках поставлено, не на словесных уступках, чтоб это стояло на камне. Это евангельское слово всем известно: не на песке надо строить — на камне. То есть должны быть

гарантии того, что это не оборвется в одну ночь или в один рассвет. (апл.) А для этого нужно, чтобы там, вторая сторона, которая входит в разрядку, имела над собой контроль: контроль общественности, контроль прессы, контроль свободного парламента. А пока такого контроля нет — нет гарантии. (апл.) А третье простое условие: какая же это разрядка, если вести человеконенавистническую пропаганду — то, что в Советском Союзе гордо называют идеологической войной? Нет уж — дружить так дружить, разрядка так разрядка! Идеологическую войну надо кончить!

Советский Союз и коммунистические страны умеют вести переговоры. Они знают, как это делается. Долго-долго ни в чем не уступать, а потом немножечко уступить. И сразу раздается ликование: они уступают, пора подписывать договор! Вот европейские переговоры тридцати пяти стран. Два года мучительно, мучительно вели переговоры, тянули нервы и уступили: некоторые женщины из коммунистических стран теперь могут выходить замуж за иностранцев и некоторым журналистам теперь будет позволено кое-где немножко в СССР поездить. Дают одну тысячную долю естественного права, которое вообще должно быть с самого начала, вне переговоров, — и уже радость, и уже мы на Западе слышим много голосов: они уступают, пора подписывать!"

(I, стр. 223–224. Выд. Д. Ш.).

То же повторено перед представителями профсоюзов и в Нью-Йорке:

„Пока в Советском Союзе, в Китае, в других коммунистических странах нет предела насилию, а теперь присоединяется к этому массиву, кажется, и Индия, кажется, миссис Ганди не зря ездила в Москву, она хорошо переняла их методы. Можно рассчитывать, что она еще 400 миллионов добавит к тому массиву, 400 миллионов человек. Пока нет границ насилию, ничто не сдерживает насилие на таком огромном массиве, больше половины человечества, — как можете вы считать себя в безопасности? Америка с Европой вместе — еще не остров в океане, нет, так я еще не скажу. Но Америка с Европой уже меньшинство. И процесс этот продолжается все время. Пока в тех коммунистических странах общественность не контролирует своих правительств и не может иметь суждения, да даже не может знать ничего, да же знать ничего не может, что правительства задумали, — до тех пор у западного мира и у всеобщего мира нет никакой гарантии.

Говорит пословица: схватись, как с горы покатишься.

Понятно, вы любите свободу. Но в нашем тесном мире приходится платить за свободу пошлину. Нельзя любить свободу только для себя и спокойно соглашаться с тем, что пусть в большинстве человечества, на большей части земли царит насилие и душит людей.

Их идеология: уничтожить ваш строй. Это цель их 125 лет. Она никогда не менялась. Лишь немножко менялись методы. И когда ведется разрядка, мирное сосуществование и торговля, она настаивают: а идеологическая война должна продолжаться! А что такое идеологическая война? Это сноп ненависти, это повторение клятвы: западный мир должен быть уничтожен"

(I, стр. 241. Выд. Д. Ш.).

Здесь пока что не идет речь о том, какими средствами Запад может помочь нормализовать положение в тоталитарном мире. Но зато здесь отчетливо выделены основы того „естественного права, которое вообще должно быть с самого начала, вне переговоров", и которое даже в „тысячной доле" в границах одной из договаривающихся сторон не имеется, что не позволяет ни в чем ей доверять. Из приведенных выше отрывков следует, что компонентами этого „естественного права" являются: „настоящие выборы", а не „спектакль, комедия"; „полномочные законодательные органы"; „независимая пресса"; „независимые судебные органы"; „контроль общественности, контроль прессы, контроль свободного парламента" над правительством; отсутствие „человеконенавистнической пропаганды" против других стран, прекращение „идеологической войны". Это ли не демократия?

Но Солженицын не был бы самим собой, если бы вопрос о нормальном, естественном общественном устройстве не связывался для него с проблемами нравственными. В некоторых аспектах мы этого уже не раз касались. В речах перед представителями американских профсоюзов эта проблематика опять возникает как предпочтение нравственности перед правом, как абсолютизация понятий добра и зла. В нью-йоркской речи юридическое право и нравственность противопоставлены друг другу:

„Среди юристов сейчас широко распространено такое понятие, что право — выше нравственности. Право — это такое отточенное, а нравственность — это, мол, что-то неопределенное. Нет, как раз наоборот! Нравственность — выше права! (апл.)... А право — это наша попытка человеческая как-то записать в законах часть этой нравственной сферы, которая над нами, выше нас. Мы пытаемся понять эту нравственность, свести ее на землю и представить в виде законов. Иногда это удается лучше, иногда удается хуже, иногда получается карикатура на нравственность, но нравственность всегда выше права. И этой точки зрения нельзя покинуть. Надо душой и сердцем это признать"

(I, стр. 227).

Откуда эта альтернатива — право-нравственность („выше-ниже"), в общем, понятно. Мы уже говорили о правовом крючкотворстве юстиции свободного мира, позволяющем преступнику иметь преимущества перед жертвой. Право подчас подсказывает Западу недальновидную и непорядочную международную политику. Но обойтись без его определяющих рамок и установок, не впад в произвол ни в одной социальной плоскости невозможно. Право должно быть нравственным, то есть происходить из высших нравственных принципов, его надо систе-

матически ревизовать и совершенствовать в соответствии с этими принципами, отправляясь от них, как от идеала, от максимы. Но последние трудности непротиворечиво формализовать из-за антиномий, наличествующих в иудеохристианской нравственности, лежащей в основе современного демократического права. Антиномии же эти порождены, по-видимому, противоречивостью самой реальности. Поэтому в демократических обстоятельствах закон формулирует лишь общие границы решения правовой проблемы, а многосторонняя судебная процедура наполняет это решение конкретным содержанием, объединяющим закон и представление сторон о нравственности и справедливости.

Солженицын говорит о нравственных абсолютах, но беда (или сложность ситуации) в том, что моральные абсолюты реализуются через людей, привносящих в них свои, неизбежно субъективные представления о справедливости. Поэтому и необходим компас закона. Солженицынская апология нравственных абсолютов происходит в какой-то степени из его категорического неприятия нравственного релятивизма коммунистов:

„Коммунизм никогда не скрывал, что он отрицает всякие абсолютные понятия нравственности. Он смеется над понятиями добра и зла как категорий несомненных. Коммунизм считает нравственность относительной, классовой. В зависимости от обстоятельств, от политической обстановки любой акт, в том числе и убийство, и убийство сотен тысяч людей, может быть плохо, а может быть — хорошо. Это — в зависимости от классовой идеологии. А кто определяет классовую идеологию? Весь класс не может собраться, чтобы сказать, хорошо это или плохо. Кучка людей определяет, что хорошо, что плохо. Но я должен сказать, что вот в этом направлении коммунизм успел больше всего. Он успел заразить весь мир этим представлением об относительности добра и зла. Сейчас этим захвачены далеко не только коммунисты. Сейчас считается в передовом обществе неудобным, неудобным употреблять серьезно слова „добро" и „зло". Коммунизм сумел внушить нам всем, что эти понятия старомодные и смешные. Но если у нас отнять понятия добра и зла, — что останется у нас? У нас останутся только жизненные комбинации. Мы опустимся в животный мир"

(I, стр. 234).

Ниже и хуже: животные безразумны, значит — безответственны и безгреховны. Но, принимая за идеал абсолютное добро и противопоставляя ему абсолютное же зло, приходится в каждом конкретном случае выбирать реальные шаги в сторону идеала и отвечать за них. Непротиворечиво следовать идеалу и умирать за него дано лишь святым — духовной элите элит. Но сколько людей самопожертвенно умирало и умирает за лож-

ные идеалы? Ведь и коммунизм — Зло-Оборотень, Утопия-Оборотень, Иллюзия-Оборотень — в массе случаев работает за счет человеческой тяги к Справедливости и Добру!

Солженицын говорит представителям профсоюзов в Нью-Йорке:

„Я испытал глубокое впечатление, прикоснувшись к тем местам, откуда текли и текут ваши истоки. Еще раз задумаешься: люди, создавшие ваше государство, никогда не упускали из руки нравственного компаса. Они не смеялись над абсолютностью понятий „добро” и „зло”. И свою практическую политику они свяряли с этим нравственным компасом. И вот удивительно: политика, рассчитанная по нравственному компасу, оказывается самой дальновидной и самой спасительной”

(I, стр. 246).

Трагедия состоит в том, что в реальных земных, всегда противоречивых, условиях понятия „добро” и „зло” не обнаруживают спасительной однозначности: „Волкодав — прав, а людоед — нет”, — говорит Спиридон Нержину (А. И. Солженицын. „В круге первом”). В дальнейшем изложении материала мы убедимся, что и Солженицын не абсолютизирует заповеди „Не убий” и непротивления злу насилием. На несколько реплик в пользу последнего у него приходится десятки примеров восславления или рекомендации противоположного поведения. Если и есть высшие, абсолютные критерии Добра и Зла, то приходится выверять по ним свое поведение в каждом конкретном случае и чаще всего выбирать путь не абсолютного добра, но наименьшего зла, приближающий нас к добру. Страшная опасность, однако, состоит в том, что так же рассуждают в своих декларациях все ткачевы мира (ленины, полы поты и К^о): они выдают свой путь за путь наименьшего зла, ведущего к абсолютному добру. Некоторые из них и особенно из их последователей делают это искренне. Так что на земле ясности нет: каждый шаг — выбор, соответствующий нашим критериям Добра и Зла. И без ограничительных и указующих рамок права здесь не обойтись. Задача всякого желающего быть здоровым общества — постоянное, посредством узаконенной демократической процедуры, совершенствование этого права, повышающее его способность быть в каждом конкретном случае *справедливым*, то есть приближающим нас к Добру в его максимах.

(Продолжение следует)



ПАРИЖ

1987

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЬБАТРОС». ПАРИЖ:

Д. КЛЕНОВСКИЙ	Собрание стихов. I.	1980 г.
А. ВЕЛИЧКОВСКИЙ	Нерукотворный свет. Стихи	1981 г.
А. ДАВЫДОВ	Воспоминания	1982 г.
С. РАФАЛЬСКИЙ	За чертой. Стихи.	1983 г.
Е. ТАУБЕР	Верность. Стихи.	1984 г.
С. РАФАЛЬСКИЙ	Николин Бор. Проза.	1984 г.
Б. ЗАКОВИЧ	Дождь идет над Сеной. Стихи	1984 г.
С. МАМОНТОВ	Сказание. Проза.	1986 г.
Ю. ТЕРАПИАНО	Литературная жизнь русского Парижа. Очерки.	1987 г.
С. РАФАЛЬСКИЙ	Их памяти. Статьи.	1987 г.
В. ПЕРЕЛЕШИН	Три Родины. Стихи.	1987 г.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Д. КЛЕНОВСКИЙ	Собрание стихов. II.
А. НЕСМЕЛОВ	В затонувшей субмарине.
Т. ФЕСЕНКО	Двойное зрение. Стихи.

СБОРНИКИ СТИХОВ «РИФМЫ», ИЗДАННЫЕ Р.Ю.ГЕРРА:

А. ВЕЛИЧКОВСКИЙ	С бору по сосенке.	1974 г.
И. ОДОЕВЦЕВА	Златая цепь	1975 г.
А. ШИМАНСКАЯ	Антенны.	1976 г.
И. ОДОЕВЦЕВА	Портрет в рифмованной раме	1976 г.
А. ВЕЛИЧКОВСКИЙ	О постороннем.	1979 г.
В. ВЕЙДЛЕ	На память о себе.	1979 г.
Т. ВЕЛИЧКОВСКАЯ	Цветок и камень.	1981 г.

ДРУГИЕ КНИГИ, ИЗДАННЫЕ Р.Ю.ГЕРРА:

С. ШАРШУН	Без себя. Проза.	1972 г.
Е. ТАУБЕР	Нездешний дом. Стихи.	1973 г.
Д. КЛЕНОВСКИЙ	Последнее. Стихи.	1977 г.
М. АНДРЕЕНКО	Перекресток. Рассказы.	1979 г.
СТРАННИК	Переписка с Кленовским.	1981 г.

Editions René Guerra

Склад изданий: M. René Guerra

37, rue du Fort, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE.



Тридцать лет тому назад, спустя несколько лет после смерти усатого диктатора, и всего лишь через год после XX съезда партии, где впервые прозвучали слова, означавшие, что сталинская эпоха уходит в прошлое, родилось неофициальное искусство, появилось движение художников-нонконформистов, которые не желали покоряться догмам социалистического реализма, искусства казенного, лживого и угоднического, а хотели писать свои картины в том стиле, который им люб, и о том, что их волнует. Еще совсем недавно казалось, что ничего подобного в Советском Союзе произойти не может. Ведь с 1932 года, с того самого злочестного апрельского партийного пленума, чьим решением были разогнаны последние более или менее свободные профессиональные творческие объединения, а им на смену создан единый Союз художников СССР, члены которого обязаны были писать в стиле социалистического реализма, иными словами, пропагандировать идеи и дела партии, столько произошло непоправимого и страшного для подлинного искусства, что чудилось — никогда оно вновь не возродится. И, действительно, еще до всяких партийных резолюций, ограничивающих свободу творчества, часть замечательных русских художников, вошедших в историю мирового искусства, ну, хотя бы таких, как Кандинский, Шагал, Габо, Певзнер, эмигрировали из страны, словно предчувствуя, что их тут просто раздавят, покинули Россию. А те, кто остался, были обречены. Чем дальше, тем меньше им удавалось выставляться. Все чаще обвиняли их в формализме. Уже им не доверяли преподавать молодым художникам. После 1932 года этот

процесс все убыстрялся и убыстрялся. Как всегда бывает при тиранических режимах, быстро нашлись умелые приспособленцы, как собаки чующие, куда ветер дует, и к концу тридцатых годов все русское изобразительное искусство оказалось у них в руках, под их пятой. Они писали портреты партийных и военных вождей, они распределяли заказы и все прочие блага, они руководили... А любой вольный голос, каждый еще не до конца сломленный художник или скульптор, зачислялся ими в ряды врагов партии и государства. И хорошо еще, если человека не уничтожали, не арестовывали, бывало и так, а только обрекали на голод и нищету. Так от голода, именно от голода умер в осажденном Ленинграде гениальный Филонов, практически, его сознательно убили, сознательно не пришли к нему на помощь. А зачем он нужен, пусть и гений, если пишет как хочет, если не сдастся? Ведь «если враг не сдастся, его уничтожают» — не так ли учил нас главный писатель соцреалистической эпохи Максим Горький?!

Когда шла Великая отечественная война, многие надеялись на перемены: мол, пройдем через зло, победим, и, глядишь посвободнее станет. Какие-то уцелевшие, отсидевшиеся в тридцатые годы художники-авангардисты умудрились даже в 1943 году, когда начальство еще в Москву не вернулось, устроить в Пассаже выставку. Но эту вражескую вылазку быстро пресекли, а после войны не только не полегчало, а закрыли вскоре в Москве Музей нового западного искусства — никаких вам Сезаннов, Ван-Гогов, Матиссов и прочих буржуазных влияний, а потом прикрыли музей классического западного искус-

ства — никаких вам Рубенсов, Рембрандтов и тем более Боттичелли, никакого влияния разлагающегося уже много веков, да не разложившегося почему-то, трижды проклятого Запада. У своих учитесь — и ни у каких-то авангардистов или мирискусстников, а только у художников социальных, у передвижников.

Но сколь же богата Россия талантами, если десятилетиями зарывали их в землю да затапывали, а вот, смотрите, и снова зеленые ростки появились, едва наступила хрущевская оттепель проросли они и неудержимо потянулись ввысь. Вначале в Москве, а затем и в Ленинграде, а потом и в провинции российской.

Естественно, хоть сталинская эпоха и уходила в прошлое, но ее выкормыши еще повсюду сидели у власти (и в Союзе художников, и в Союзе писателей, и в Союзе архитекторов, и в самом парт-аппарате) и уж никак не хотели ее, а вместе с ней и кормушку отдавать. И были у них молодые, цепкие, подобные им помощники да последователи. И никак эти ревнители социалистического реализма не могли допустить, чтобы в искусстве восторжествовал гибельный для них дух свободы творчества. Поэтому с самого начала они объявили неофициальным живописцам войну, решили движение художников-нонконформистов искоренить, едва оно появилось. И казалось бы, легко им это было сделать, все нити управления были у них в руках. Но, увы, джин свободы, выпущенный из бутылки, оказался неуничтожаемым. Чего только против этих самых художников-нонконформистов не бросали — и грозные статьи с политическими обвинениями в газетах и журналах (не помогало), и руководителя партии и правительства Никиту Хрущева, устроившего в конце 1962 года погром на выставке XXX-летия московского Союза художников (не устрасило), и гебистов, которые закрывали выставки нонконформистов в 1963-1969 годах (не действовало), и бульдозеры, разгромившие 15 сентября 1974 года выставку, организованную неофициальными живописцами на одном из московских пустырей (и это никого не испугало)... Уже и на Западе прошли персональные экспозиции Анатолия Зверева (в Париже и Женеве) и Оскара Рабина (в Лондоне), уже и во Флоренции, и в Риме, и в Нью-Йорке проводились групповые выставки неофици-

альных русских художников. Уже, пусть и не очень удачная, но монография об их творчестве была опубликована в США. Казалось бы, надо было понять охотникам, что добыча от них безвозвратно ускользает, нет, не точно, просто те, на кого они охотились, не обращали на них никакого внимания. Шли своей дорогой, да и все. Это — как в восточной пословице: собака лает, а караван себе идет. Ну, казалось бы, отстаньте, уgomонитесь, не позорьтесь. Нет, не могут. И вот послали себе на голову те самые бульдозеры против картин. Часть картин раздавили, часть сожгли на костре, часть конфисковали. Победа вроде бы? Да, но победа Пиррова. Весь мир после бульдозерного погрома узнал, что в СССР существует неподцензурное искусство, да еще какое, наверное, если против него направляются танки, простите, бульдозеры, в сопровождении милиции и поливальных машин. И чего, казалось бы, не совершали советские правители на глазах всего мира и все чуть ли не безнаказано, но тут заклинило. Зрелище — бульдозеры против картин — было непереносимо даже для левой части западной интеллигенции, сочувствующей социальному эксперименту в России. И прошла по газетам и радиостанциям Европы и США буря. И лондонская TATE Gallery отказалась в знак протеста от уже запланированной выставки Тернера в Эрмитаже. И в Сенате Соединенных Штатов глава профессионального американского рабочего движения Джордж Мини вопрошал: «Что это за общество, которое посылает картины против бульдозеров?!» И сенаторы вопрошали: «А достойно ли идти на компромисс с таким обществом, то бишь на разрядку напряженности, на столь желаемый советскими лидерами детант?» Вот до чего довели непродуманные бульдозеры, довели до того, что впервые под напором снизу коммунистический режим отступил, и разрешил через две недели провести в Москве, правда, в другом месте, в Измайловском парке, эту еще недавно казалось бы так удачно раздавленную выставку. И она, четырехчасовая, состоялась, и 15 тысяч зрителей, недобитая московская интеллигенция и студенты, пришли на эту выставку, чтобы продемонстрировать свою солидарность с бунтующими художниками.

С той поры много чего произошло. Кого-то из коллекционеров и особенно

бескомпромиссных художников заставили из России уехать, и живут они теперь кто в Париже, кто в Нью-Йорке, кто в Дюссельдорфе да в Мюнхене. Для оставшихся нонконформистов создали в 1976 году специальную секцию живописи при профсоюзной организации Московском Горкоме художников-графиков — обещали и выставки, и творческие поездки по стране, и ателье, только, чтобы на какие-то уступки шли. И, правда, кого-то посылали поехать по России, и выставки в помещении этого самого Горкома стали более или менее регулярно устраивать и кому-то даже ателье дали. Но ожидаемого властями не произошло: если раньше художники не боялись хлыста, то теперь они не покупались за государственные пряники. То есть у кого-то от ласки начальства сердце и дрогнуло, кто-то и отступил, но к удивлению этого самого начальства, далеко не все, а главное, не столько уступил, сколько начальству хотелось. Оно, например, жаждало, чтобы художники публично, в прессе осудили все проходящие на Западе выставки русского неофициального искусства и запретили экспонировать на них свои картины. А художники не только отказывались это сделать, но и время от времени умудрялись пересылать на Запад свои новые работы. Начальство хотело, чтобы художники смирились с цензурой их горкомовских выставок, с каждым годом все больше и больше ужесточавшейся (сначала нельзя экспонировать картины с социальной тематикой, потом и с религиозными мотивами, затем и с непонятными, а, значит, пугающими шефов концептуальными идеями), художники же бунтовали. И снова — скандалы. И снова о них писала западная пресса. В 1978 году власти решили осуществить новую акцию. Стали из Парижа в Москву и Ленинград засылаться художникам письма о том, что никого не интересует здесь современное русское искусство, о том, что не то, что на холсты и краски денег не хватает, но и поесть часто не на что. Эти письма однажды обсуждались на заседании секции живописи московского Горкома художников-графиков и сказала руководство Горкома, а если персонально, то его председатель товарищ Ащеулов: «Видите, как там вашим приходится. Лучше сидите тихо, не возникайте, тогда будем выставлять вас в США, в Питтсбурге есть галерея, готовая на

это. Если же станете бунтовать, то выгоним из страны и будете на Западе подыхать от голода под забором». Увы, эта проникновенная речь никак на художников не повлияла. Да и знали же они, что это все туфта, что большинство оказавшихся на Западе художников широко выставляется по обе стороны Атлантики, что есть и столь успешно строившие, в хорошем смысле этого слова, свои карьеры, художники: те же русские парижане Михаил Шемякин и Юрий Купер, к примеру, знали они о существовании в Монжероне Музея современного русского искусства в изгнании, и о выставках, организуемых им или на базе его собрания, в музеях и выставочных залах Парижа, Лондона, Западного Берлина, Токио, Турина. А Биеннале в Венеции? А все каталоги, приходящие с Запада? Да что им Ащеулов с его Питтсбургом и выставками в Горкоме, о которых советская печать не пишет, а если изредка и напишет, так обязательно изругает?! В общем, вновь не удалось главнокомандующим советской культуры художников-нонконформистов приструнить, и в 1980 году начальство решило даже секцию живописи при Горкоме ликвидировать. И даже успело об этом объявить. И в Ленинграде, где проходил похожий процесс, неофициальным (или теперь уже полуофициальным) живописцам сказали, что выставок не будет. Но снова, как с бульдозерами, начальство не рассчитало. К тому времени еще один Музей современного русского искусства открылся, у Монжеронского музея появился в 1980 году собрат в Джерси-Сити, под Нью-Йорком. И вот в знак протеста против нового наступления властей на художников-нонконформистов было решено провести в Москве, и в Ленинграде, и в обоих русских музеях, то есть по обе стороны Атлантики, фестиваль свободного русского искусства. И товарищи вновь отступили — очень нежелательной показалась им эта совместная акция, тем более, что фестиваль, начавшийся с Монжеронского музея, вызвал сразу отклики прессы и французской и западно-германской. Так что живописная секция Горкома в Москве устояла и по-прежнему в Москве и в Ленинграде в 1980-1986 годах время от времени проходили выставки (и групповые и персональные) художников-нонконформистов. И на Западе они тоже проходили. Скажем, в Москве персо-

нальная выставка Анатолия Зверева, а через какое-то время его же выставка проходит в Нью-Йорке в американской галерее. А в Париже в «Галерее Мари-Терез» демонстрируются работы москвичей Владимира Немухина, Александра Калугина, Игоря Снегура. В Москве на групповых выставках показывают картины Владимира Немухина, а в Ленинграде — Владимира Овчинникова, в Джерси-Сити же, в Музее современного русского искусства в изгнании проходят в 1986 году их персональные экспозиции, да еще и с прекрасными каталогами, которые, конечно, попадают в Москву и в Ленинград. А тут вдруг еще с триумфом проехала (1986-87 гг.) по Европе персональная выставка москвича Ильи Кабакова — по музеям Швейцарии, Западной Германии и Франции. А картины другого москвича, Эрика Булатова, демонстрировались на выставке русских художников, исповедующих принципы соц-арта в Новом Музее современного искусства в Нью-Йорке, а затем и в одной из нью-йоркских американских галерей.

И в августе 1986 года нервы у противников свободного русского искусства не выдержали. Тот же критик Ольшанский, что громил в 1965 году на страницах газеты «Советская культура» Оскара Рабина (после его персональной экспозиции в Лондоне), теперь, то есть в августе 1986 года, на страницах той же газеты обрушился на Илью Кабакова, Эрика Булатова, Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга, и более молодых художников-нонконформистов, главным образом, концептуалистов. Все обвинения носили политический характер. Ольшанский дописался даже до того, что заявил: «творчество этих художников участвует в психологической войне против советского народа, советской страны и коммунистической партии».

Это уже был крик души, крик от злобы и бессилия. Никаких конкретных действий после столь тяжких обвинений не последовало, никого не наказали, никого ни откуда не выгнали, а тут еще подоспела горбачевская мини-либерализация и в марте 1987 года на страницах газеты «Известия» эти же художники были расхвалены.

Что произойдет с неофициальными художниками Советского Союза дальше, можно только гадать, как там будут развиваться события, никто не знает. Мы уже пережили одну либера-

лизацию, хрущевскую оттепель, и понимаем, что все может повернуться вспять: теперь, говоря по-ленински, шаг вперед, а потом, глядишь, и два шага назад. Но так или иначе, неофициальное русское искусство существует уже тридцать лет и можно и нужно, по-моему, рассмотреть процессы, происшедшие внутри него за эти три десятилетия, тем более, что с одной стороны, в семидесятые годы многие зачинатели движения художников-нонконформистов оказались на Западе, а с другой, — внутри метрополии это движение в последнее десятилетие развивалось и вширь и вглубь. И, главное, важно, на мой взгляд, осмыслить, что за тридцать лет своего существования добилося неофициальное русское искусство, что создали его мастера, как они начинали и какие процессы происходят в неофициальном русском искусстве в последние годы.

Как я уже сказал, послесталинская, точнее, хрущевская оттепель пробудила у молодых московских, и чуть позже ленинградских, живописцев и скульпторов надежду на возможность свободного творчества. Первое поколение художников-нонконформистов, то есть тех, кто начинал свободное русское искусство в середине пятидесятых годов, сформировалось к началу годов шестидесятых. И за редким исключением это были мастера предметного искусства. Правда, отдали вначале дань различным формам абстракционизма многие, — и покойный ныне, он умер год назад в Москве, Анатолий Зверев (ташизм), и Владимир Немухин (абстрактный экспрессионизм), и Лев Кропивницкий, который, вернувшись из сталинских лагерей, где он отсидел десять лет, стал почему-то, может быть, именно из-за тяжелой судьбы отвергая реальность, ярким поборником абстракционизма. Даже Оскар Рабин, которого впоследствии французский критик Жак Гатто назвал «Солженицыным в живописи», на какое-то короткое время начал абстрагироваться от реалий, которые он изображал. Но в конце концов все эти мастера обрели себя как художники — экспрессионисты, символисты или сюрреалисты, но, во всяком случае, как живописцы не абстрактного, а предметного плана. А такие известные теперь скульпторы и художники как Эрнст Неизвестный, Борис Свешников, Дмитрий Краснопевцев, Владимир

Вейсберг (он умер в Москве год назад), Александр Харитонов, Валентина Кропивницкая и многие другие всегда выражали себя, изображая окружающую их действительность, конечно, пропуская ее через свои чувства и мысли и, естественно, у каждого из них был свой стиль, свой почерк и работали они в разных направлениях — неоэкспрессионизм, примитивизм, сюрреализм, фантастический реализм. Исключение составляла для первого поколения художников-нонконформистов лишь Лидия Мастеркова, которая начала с абстракционизма и, развиваясь дальше, на протяжении тридцати годов оставалась и остается абстрактным художником.

В начале-середине шестидесятых годов когорту неофициальных мастеров пополнило второе поколение художников-нонконформистов. Здесь тоже было много живописцев предметного плана, — Дмитрий Плавинский, Вячеслав Калинин, Эдуард Штейнберг (к концу семидесятых он, правда, стал абстракционистом, но часто возвращается и по сейчас к своим натюрмортам) и другие. Я называл до сих пор только москвичей, но и в Ленинграде к этому времени неофициальное искусство тоже получило достойное развитие. Достаточно назвать только группу «Санкт-Петербург», созданную Михаилом Шемякиным, возникшую в середине шестидесятых годов. Все художники этой группы исповедывали один творческий метод — «метафизический синтетизм», т.е. их тоже привлекало искусство предметного характера. Но были еще в Ленинграде, задолго до появления метафизиков, и неореалист Александр Арефьев, и абстракционист Александр Леонов, и группа Стерлигова, исповедывающая принципы предметного искусства.

Но, конечно, главным событием для свободного русского искусства в шестидесятых годах стало рождение в Москве концептуального искусства, чем мы обязаны, во многом, Илье Кабакову. В близком ключе к нему работали все художники из так называемой группы «Сиреневые бульвары», то есть Эрик Булатов (сначала абстракционист, позже концептуалист), Владимир Янкилевский, в творчестве которого концептуализм часто переплетается с сюрреализмом, Олег Васильев и другие. Важным событием для свободного русского искусства было и развитие в это же время в Москве кинетического ис-

кусства. Группа «Движение», которую создал Лев Нуссберг, много сделала для возрождения этого искусства двадцатых годов, то есть времени великого русского эксперимента, и развития этого направления в современных условиях.

Таким образом, общая картина неофициального русского искусства в шестидесятые годы стала более разнообразной, но обратите внимание, чистые абстракционисты вновь составляли в движении художников-нонконформистов абсолютное меньшинство. И это объясняется вовсе не тем, что русские художники не знали, что делается в их время на Западе. Знали, они прекрасно это знали! Но им нужно было столь много, в том числе и за глухие сталинские годы, сказать своим соотечественникам (а для этого язык абстрактного искусства в стране с ним совсем не знакомой не очень-то подходил) и к тому же именно на их долю выпало восстановить насильственно прерванное в 30-е—50-е годы развитие русской живописи, сохранить российские традиции изобразительного искусства в высшем смысле этого слова.

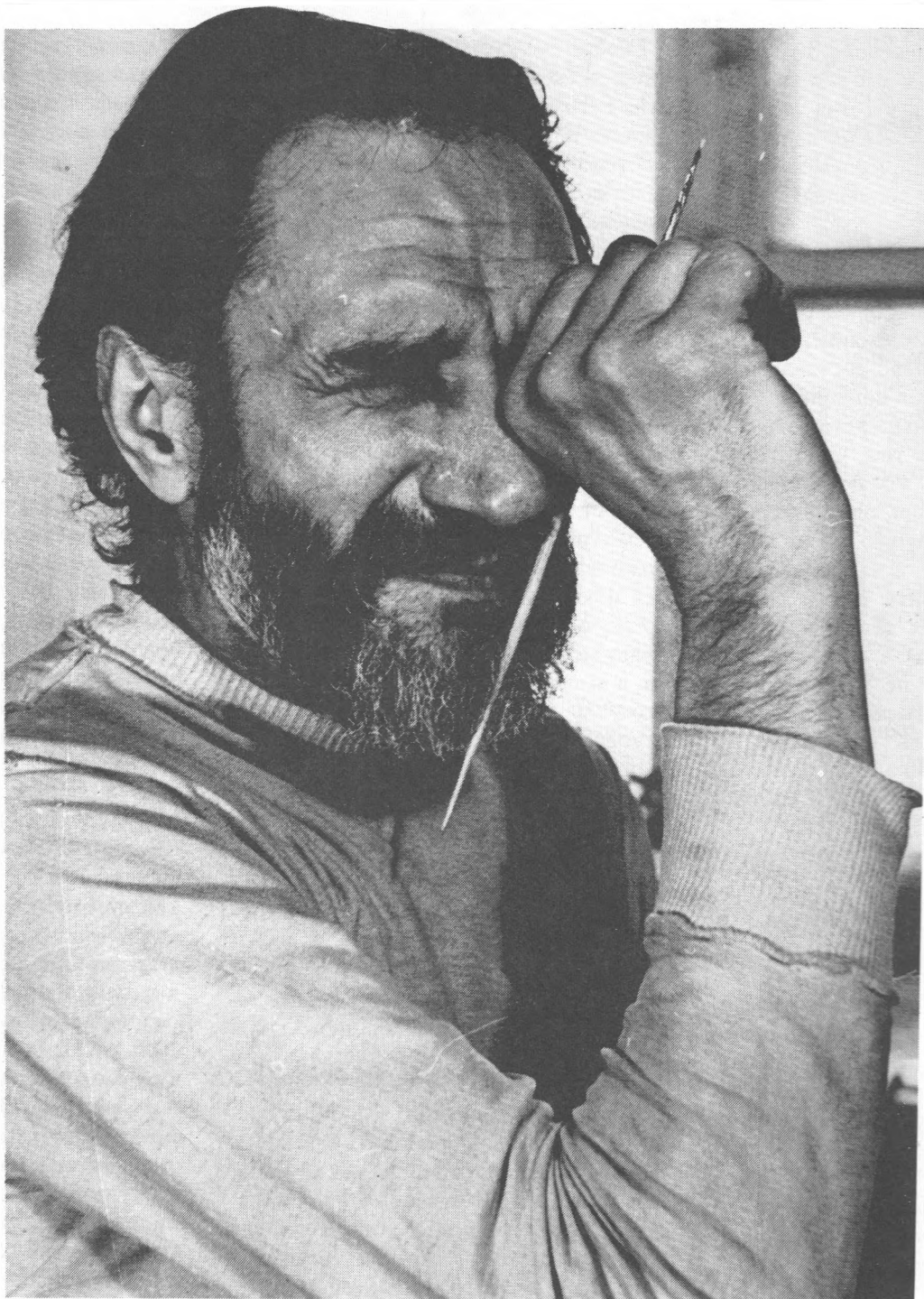
Но когда первыми двумя поколениями художников-нонконформистов эти задачи были выполнены, когда они высказались и их поняли, когда в стране, во всяком случае в Москве и Ленинграде появилась молодежь, знающая и понимающая тенденции искусства мирового, то в третьем поколении художников-нонконформистов, естественным путем, наряду с живописцами предметного толка, такими, например, как в Ленинграде Юрий Жарких, Владимир Эвчинников, Александр Нежданов, в Москве — Петр Беленок, Александр Махов, Александр Рабин, Иосиф Киблицкий и другие, в неофициальное искусство пришли и мастера поп-арта (покойный ныне Евгений Рухин), абстракционисты Виталий Длуги и Вячеслав Савельев, неоконструктивисты, появились новые группы художников-концептуалистов, которые по-своему развивали принципы, подходы и технические приемы, найденные чуть ли не за десять лет до этого Ильей Кабаковым. Более того, именно среди этих художников оказались мастера, которым удалось впоследствии найти свой оригинальный стиль и уже на Западе, в эмиграции завоевать достойное место в западном, в частности в американском искусстве.

Говоря о русских художниках на Западе в плане творчества, необходимо отметить, что никто из оказавшихся в Европе и в США известных наших мастеров не изменил себе, никто из них не стал подчиняться диктату рынка, следовать быстро меняющимся модам. А, кстати сказать, как раз верность себе и приносит, как правило, успех. Метание же из стороны в сторону, следование требованиям рынка на творчестве сказываются, тоже как правило, губительно.

Но пора, как говорится, подводить итоги. Итак, неофициальному русскому искусству исполнилось тридцать лет. Возраст вполне зрелый. И за эти годы, несмотря на трудности и гонения, художники-нонконформисты всех четырех поколений выделили из себя прекрасную группу мастеров, которыми по праву может гордиться русская культура, и именно по их творчеству будущие историки русского искусства и искусствоведы будут судить об уровне русского изобразительного искусства в период с середины пятидесятых годов и по наше время. На мой взгляд, те, кто стоял у истоков, кто зачинал неофициальное русское искусство, все те, кто боролся за его существование, отстаивал свободу творчества в несвободной стране, могут гордиться. Да, им было тяжело, да, они преодолевали немислимые для людей западного мира препятствия, да, многие лишились родины, вынуждены были опять же ради сохранения творчества, а порой и собственной свободы, покинуть Россию... Но жертвы их, это видно уже сегодня, оказались не напрасны. Они воссоздали после сталинской губительной для культуры эпохи русское искусство, это искусство, несмотря на барьеры и бульдозеры наследников сталинской эры, продолжает успешно развиваться и в метрополии и в эмиграции. И ныне оно известно, без преувеличения всему миру — от Нью-Йорка до Парижа, от Дюссельдорфа до Венеции, от Мюнхена до Вены, от Торонто до Токио. О русских художниках-нонконформистах написаны сотни статей французскими, американскими, западногерманскими, итальянскими, японскими и другими искусствоведами и журналистами. На Западе вышли две книги, рассказывающие об истории русского неофициального искусства и существующих в нем тенденциях. Некоторым русским художникам, как я уже сказал, посвящены

монографии, написанные американскими и европейскими критиками. Картины целого ряда наших мастеров находятся в музеях Нью-Йорка и Парижа. В многочисленных каталогах запечатлены тысячи работ наших художников, скульпторов и графиков. Неофициальное русское искусство уже никогда и никому не вычеркнуть из истории свободной русской культуры, тем более, что как раз сейчас (в шутку можно сказать, что к тридцатилетнему юбилею) кажется и на родине к художникам-нонконформистам пришло признание. Дело не только в многочисленных статьях («Известия», «Литературная газета», «Московские новости»), в которых то отмечается талант и своеобразие, скажем, Ильи Кабакова, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, Эдуарда Штейнберга, покойного Анатолия Зверева, то выражается сожаление по поводу того, что многие талантливые живописцы и скульпторы 60-х—70-х годов были вынуждены эмигрировать, то констатируется необходимость создания в Москве Музея современного искусства. Слова, как известно, не всегда превращаются в дела. Но вот в конце сентября в Москве, в зале «Эрмитаж», расположенном в районе Беляево (то есть, по иронии судьбы, именно там, где 13 лет назад бульдозеры давили картины) открылась «Выставка ретроспективы: 1960-1987 гг.» Причем на ней демонстрировались не только работы художников-москвичей, участников движения нонконформистов, но и чуть ли не всех эмигрантов (картины взяты из частных собраний). Табу было наложено только на полотна Оскара Рабина. Но, как сказал мне по телефону художник Владимир Немухин, «это дело рук какого-то перестраховщика, и мы надеемся, что добьемся разрешения выставлять и картины Оскара». Остается еще добавить, что по словам недавно вернувшегося из Москвы художника парижанина Владимира Титова, Моссовет уже предоставил в саду «Эрмитаж» четырехэтажное здание для Музея современного искусства. Правда, Союз художников выступает против этого начинания (что естественно), поэтому неизвестно чем дело в конце концов кончится, однако так или иначе ясно, что художники-нонконформисты после тридцатилетних гонений получили или вот-вот получат признание на родине.

Александр Глезер



1915-1987

И снова смерть в декабре. В декабре 1984 года не стало Владимира Вейсберга, в декабре 1986 года — Анатолия Зверева и вот теперь, в конце нынешнего декабря, — старейшего нашего неофициального художника Василия Ситникова. Он умер на чужбине, в Нью-Йорке, но все его творчество и там, в Москве, и здесь — было связано с Россией. И нет сомнений, что созданное им не пропадет, останется в истории русского искусства XX века.